В. Л. ВЕЛИЧКО

Владимир Соловьев

Жизнь и творения

I

16 января 1853 года в день, посвященный Церковью воспоминанию о веригах св. апостола Петра, в семье знаменитого историка нашего Сергея Михайловича Соловьева [1] родился сын, которого назвали Владимиром и который, как оказалось, был послан в мир с призванием исключительным.

Это высокое призвание сказалось рано; мало-мальски внимательный наблюдатель, глядя на выразительное личико ребенка, окаймленное густыми темно-каштановыми волосами и озаренное загадочно-глубокими лучистыми глазами, сразу видел, что это растет нравственная сила и недюжинный ум, а также своеобразный, правдивый характер. Ребенок уже вел себя не как все: с одной стороны, он был гораздо сдержаннее и вдумчивее, чем обыкновенные дети, с другой — чувствовал уже сильнее и глубже. В раннем детстве он знал множество русских песен, а также стихотворений лучших наших поэтов. Особенно любил он все, что веяло народным духом. Рассказывают, что он мог целыми часами просиживать перед стулом, изображавшим запряженную лошадь, и убежденно напевать: «Ну, тащися, сивка!» [2] Он был буквально влюблен в кучера, здоровенного детину с большой бородой, от которого дышало русскою простонародной силой. Бывало, вырвется мальчуган во двор и — шмыг в сарай, к своему другу; бросается к нему на грудь, обнимает, целует. К нищим у него была какая-то мистическая любовь, не покинувшая его до самого конца дней. С тех пор как завелись у ребенка карманные деньги, они всегда предназначались нищим.

В товарищах-сверстниках ребенок не нуждался и не искал их, потому что рано их перерос духовно; но ко всему окружающему он относился с такою необыкновенною чуткостью и впечатли-

тельностью, что даже неодушевленным предметам давал имена собственные. Любимый свой ранец с книгами он называл, например, Гришей, а карандаш, который носил обыкновенно на длинном шнурке через плечо, как меч, или на шее, он называл Андрюшей. Эта детская черта вошла затем в основу одной из коренных его философских идей и потому заслуживает особенного внимания.

Трудно определить, когда именно он стал приобретать или, вернее, жадно впивать начатки гуманитарных наук; во всяком случае, это началось очень рано. В период от 6 до 7 лет он любил воображать себя испанцем: перекидывал полы детского пальто на плечи, как настоящий гидальго, и рассказывал своей любимой сестре Надежде Сергеевне, подходившей к нему и по годам, и по душевному складу, разные импровизированные новеллы в духе средневековой Кастилии.

Кроме родителей воспитанием его в период от шести- до десятилетнего возраста занималась Анна Кузьминична Колерова, которую он в шутку называл Анной-пророчицей, потому что ей случалось видеть вещие сны, предсказания коих сбывались не раз и производили на маленького питомца сильное впечатление. Эта почтенная особа долго жила потом «на покое» в доме Н. С. Соловьевой как ближайший друг семьи и скончалась зимою 1902—1903 года.

Сам знаменитый историк наш зорко всматривался в своего необыкновенного сына и рано угадал, какая именно духовная пища нужна этой натуре. Ребенку было всего семь лет, когда он жадно и обильно испил впервые воды из священной чаши, данной ему отцом: семи лет от роду маленький Владимир Соловьев прочел жития святых — и не только прочел, но принялся и сам их «переживать» по мере своего все растущего понимания. Он стал испытывать и закалять свою волю во славу Божию. Зимой нарочно снимал с себя одеяло и мерз, а когда мать приходила накрывать его, думая, что одеяло сползло во время сна, — ребенок просил не мешать ему поступать так, как он считал нужным.

Этот знаменательный факт стремления к подвижничеству является основною чертою характера Владимира Соловьева и проходит красной нитью через всю его высокоодухотворенную жизнь. Многое из того, что им впоследствии сказано или совершено, зародилось в эти ранние детские годы и наглядно ими объясняется.

В самом дне его рождения, посвященном памяти вериг св. Петра, как будто есть что-то пророческое; с ранних лет в нем были черты этого пламенного апостола Христова: тот же пыл, тот

же могучий подъем вдохновения после кратких мгновений упадка, та же глубокая, впечатлительная и чуткая человечность.

Жажда знания в нем была неутолимая: восьми лет он уже был серьезным знатоком истории и географии, двух любимых своих предметов.

На девятом году он познал первую любовь, младенческую, но чрезвычайно пылкую. Пленила его миловидная сверстница, Юлинька С., и невинное ухаживанье выражалось в том, что он на Тверском бульваре из целой толпы детей выбирал только ее одну, чтобы играть и бегать с ней. Рано постигла его судьба многих замечательных людей — быть не понятым женщиной: Юлинька скоро предпочла ему другого. Заметив это, он страшно вознегодовал, тут же подрался со своим счастливым соперником, а на другой день вносит в свой детский дневник следующие строки: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки...» Об этой первой своей любви Владимир Соловьев помнил до последнего времени и раскрыл ее *истинный* смысл в поэме «Три свидания» (1898):

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почуешь трепетный напев...

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру,
Я узнавал сиянье Божества...

Вот истина художественная или, вернее, мистическая; а вот как было на самом деле:

И в первый раз — о, как давно то было! —
Тому минуло тридцать шесть годов,
Как детская душа нежданно ощутила
Тоску любви с тревогой смутных снов.

Мне девять лет; *она*... — ей девять тоже.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть! А! он мне даст ответ!..

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье —
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?

Страстей поток — мгновенно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла Ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя к житейскому слепа...

Эта автобиографическая поэма, которую покойный автор сам весьма любил, дает биографу Вл. С. Соловьева ценные указания на главные моменты его личной жизни — и к ней придется еще вернуться. Покуда же необходимо поговорить еще о фактах промежуточного периода, которые и сами по себе интересны, и служат к выяснению обаятельной личности почившего. А эта личность не менее достойна изучения и любви, чем то, что ею создано.

Итак, возвращаюсь к рассказу. На одиннадцатом году Владимир Соловьев поступает в третий класс 5-й Московской гимназии* и не только блестяще учится, но читает жадно, серьезно, не довольствуясь полузнанием, а добираясь до самой сущности встречающихся вопросов. Память, способности и развитие были у него громадные. Однажды, будучи еще в одном из младших классов, он упросил отца взять его на какую-то весьма серьезную публичную лекцию и по возвращении оттуда пересказал ее дома почти целиком.

В гимназии он вообще развернулся, стал весел, остроумен, общителен и вначале даже шаловлив. Года полтора он даже чувствовал, если можно так выразиться, прилив отроческого милитаризма: бросался к окнам во время прохождения войск, ходил на парады и маневры и горячо рассуждал о значении храбрости как главной мужской добродетели.

Ближайшими товарищами его по гимназии были сыновья А. Ф. Писемского[3], а первую отроческую дружбу, которой он не изменил до самой смерти, он посвятил братьям Лопатиным[4] (воспитывавшимся в Поливановской гимназии), из которых старший — его сверстник — ныне известный профессор.

В старших классах гимназии он испытал период мучительных сомнений и яростного отрицания всего того, чему посвятил дальнейшую славную жизнь. Он пламенно увлекался нигилизмом, материализмом, внимательно изучал до тонкости всевозможные учения, прямо или косвенно подрывающие доверие к христиан-

* 5-я Московская гимназия была выделена из 1-й.

ской религии. Одно время он считал Спинозу первым мировым философом, а Писарева — величайшим писателем земли русской.

Несмотря на замечания родных и гимназического начальства, он отрастил себе длинные волосы в знак особого вольнодумства и пытался проводить наивными способами в жизнь обуявшие его увлечения. Например, однажды, после вечера, проведенного в горячих рассуждениях с единомышленными товарищами, он, по тогдашнему выражению, «предался иконоборству» [5]: сорвал со стены своей комнаты и выкинул в сад образа, бывшие свидетелями стольких жарких детских его молитв.

Под влиянием одного из своих товарищей, впоследствии достигшего кой-какой дутой популярности отрицательными тенденциями и смолоду уже бывшего ярым нигилистом в скверном смысле этого слова, 15-летний Владимир Соловьев с каким-то болезненным наслаждением глумился над святынями и верованиями, которых не принимал его пылкий и требовательный ум.

Наш маститый историк зорко следил за духовным брожением сына, но не оказывал на него давления, считая это естественной болезнью естественного роста, которая должна пройти сама собою. Лишь изредка он полунасмешливо останавливал и конфузил зарвавшегося отрока; например когда однажды юный гимназист, потирая руки, заметил отцу по поводу одной французской книги: «А недурно там отделывают христианство», Сергей Михайлович отвечал ему немножко по Домострою: «А тебе бы следовало за это хорошенько уши надрать!»

Весьма замечательно, что в противоположность большинству юношей, у которых период «безбожия» и острого материализма совпадает обыкновенно с первыми кутежами и исканием низменных приключений с женщинами, Владимир Соловьев избегал женщин и относился в ним насмешливо, почти враждебно. Ясно, что сомнения и отрицания духовных основ жизни были в нем не лукавым голосом проснувшихся страстей, а именно необходимою стадией развития духовного. В эти годы уже в нем говорила жажда истины и взошли первые всходы того дела, которому он впоследствии служил так героически-самоотверженно. Он скорбел по утраченной вере, стихийно ему необходимой, но требований несговорчивого разума отринуть не мог и не хотел.

Он сперва тяжко страдал от этого; потом, ища исхода этой муке, задался целью примирить веру с разумом в самом себе, а затем, как видно из всего дальнейшего, взял на себя великую задачу: обрести в разуме поддержку для веры и другим открыть к ней широкий путь. Эта великая перед Богом и людьми заслуга

пока еще была не общественным, а только личным его делом; она потребовала и многой неутомимой, страстной работы, и громадного напряжения, и такого самоуглубления, которое доступно лишь избранникам небес. Победа над страстями и суетою мира, начатая еще на заре самосознания, когда семилетний ребенок упивался житиями святых, — эта победа была одержана заранее и навсегда. Искание новых путей для бодрственного, сознательного служения разума вере было задачею неизмеримо более трудной.

Хотя в указанной выше поэме почивший мыслитель второю серьезною стадией своей жизни считает научно-философскую работу в Лондоне, но мне кажется, что коренное значение для всей дальнейшей деятельности и жизни его имел именно переход от неверия к вере.

Весьма важно то, *как* он совершился. У обыкновенных смертных этот переход является своего рода компромиссом между органическою, если можно так выразиться, потребностью в вере — и запросами разума; разум делается снисходительнее, а вера «теплохладною», разгораясь лишь по временам, в часы нежданных испытаний. У Владимира Соловьева, тогда еще шестнадцатилетнего юноши, слияние обеих стихий, наоборот, удесятеряет их силу и направленность. Работа кипит, отметаются препятствия и соблазны, в которых вязнут другие, и растет душа в великих стремлениях...

Присные не заметили, как и когда именно прошло у него неверие. Они видели только, что еще на гимназической скамье он, признав необходимость религиозного чувства, зачитывался историей религии, увлекался буддизмом, потом Шопенгауэром и Гартманом, сошелся со славянофилами. Вступив в университет на 17-м году, он был уже глубоко и сознательно верующим.

С внутренним успехом совпадал и внешний: Владимир Соловьев окончил курс 5-й гимназии первым учеником и записан на так называемой «золотой доске». В Московский университет он поступил на физико-математический факультет, прошел два курса и тщательно изучал естественные науки, но потом, неожиданно для своих близких и, особенно, для самого себя, не выдержал переходного экзамена по физике на третий курс[6], не ответив на какие-то элементарные вопросы. Впоследствии Владимир Сергеевич презабавно рассказывал о «затмении», которое нашло на него во время этого экзамена, а затем добавлял, что естественные науки немало помогли ему разобраться в вопросах веры и упрочить ее. Мне неоднократно приходилось слышать от него, что на Богочеловека необходимо смотреть не только как на яв-

ление Божьей благодати, но и как на факт исторический, подготовленный целым рядом общеизвестных и проверимых событий, и как на факт естественно-исторический в широком и полном смысле этого слова.

Со второго курса физико-математического факультета молодой ученый перешел прямо на третий курс историко-филологического, к которому был вполне подготовлен обширными внешкольными трудами. Во время пребывания в университете он также усердно слушал лекции и в Московской духовной академии. Последние занятия были, пожалуй, самыми главными для него, так как он прежде всего богословский писатель и проповедник. Легко можно себе представить, какой огромной массой труда были полны его юношеские годы.

Блестяще окончив курс на двадцатом году, Владимир Соловьев был оставлен при университете и, не теряя времени, принялся писать магистерскую диссертацию.

Напряженная личная жизнь или, вернее, внешкольная выработка убеждений шла своим чередом. В доме отца своего, человека непартийного и широкотерпимого ко всяким добросовестно исповедуемым чужим взглядам, юный питомец муз встречал цвет тогдашней умственной аристократии, мог слушать, спорить и развиваться.

Личная приязнь и доверие к профессорам: Московского университета — П. Д. Юркевичу [7] и Московской духовной академии — В. Д. Кудрявцеву [8] — давали ему неисчерпаемый источник радости и самоусовершенствования. На творениях нашего мыслителя, на всем его духовном складе видно несомненное влияние этих двух замечательных людей, влияние, которое он с благодарностью признавал.

Жажда отвлеченной абсолютной истины сочеталась в нем смолоду с жаждою реального ее осуществления. Этим объясняется, между прочим, охватившее его в студенческие годы, хотя и не особенно долгое, увлечение спиритизмом. Сблизившись с семьей Лапшиных [9], Владимир Соловьев сделался пишущим медиумом: его пленяло реальное, как ему казалось, прикосновение «к стихии запредельной». Сам он полушутя говаривал мне впоследствии, что отстал от этих занятий главным образом «по недостатку времени».

Усиленная работа и жгучие нервные впечатления повредили организму Владимира Соловьева и отчасти вызвали в нем смолоду крайнюю раздражительность. Он был весьма вспыльчив, но и «отходчив»: после каждой резкой выходки сейчас же каялся,

просил прощения, и основное благородство его сердца проступало во всем своем блеске.

Между 18-м и 20-м годами было у него несколько увлечений, рыцарски пылких и возвышенных, но, к счастью для него, скоропреходящих. Приехав погостить в Новороссию к одной из своих теток, княгине Дадешкелиани [10], Владимир Соловьев влюбился в простую крестьянскую девушку и собирался на ней жениться [11], но был спасен необходимостью вернуться в Москву к обычным занятиям с наступлением академического сезона; переписки с деревенской красавицей быть не могло — и образ ее мало-помалу померк. Затем он пленился поочередно двумя юными родственницами с материнской стороны, г-жами П. и Р. [12], завязалась целая переписка, но браку двадцатилетнего ученого с первой из них благоразумно помешал встревоженный семейный совет, а во второй он сам разочаровался, что весьма естественно, так как трудно было бы найти подругу жизни, которая сколько-нибудь отвечала бы даже тогдашнему его духовному уровню. Этим, насколько мне известно со слов покойного, завершились юные попытки Владимира Соловьева свить гнездо.

Мирная жинь в гнезде и не отвечала, строго говоря, ни его духовному складу, ни высокому призванию, которому он остался верен всю жизнь.

Достоин внимания прилагаемый здесь юношеский портрет Вл. С. Соловьева, тогда только что кончившего университет и вступившего в открытое море великой жизни. Высокое чело с пышными темными волосами, энергично сдвинутые густые брови над невыразимо чарующими глазами, в которых властная решимость сочеталась с детской добротой; резко очерченные усы, точно у молодого запорожца, придают низу лица некоторую суровость. Общее впечатление чрезвычайно сильное: сразу видно, что этот юноша пойдет далеко и будет глядеть на мир по-своему. Нельзя сказать, чтобы это лицо было типично русское; в нем много черт западнославянских и чего-то романтического, сложного, иноземного. Для ученого-биографа, который пожелал бы генетически исследовать возникновение такой творческой личности и такого характера, как Владимир Соловьев, представят большой интерес следующие данные о его семье, лично им сообщенные мне несколько лет тому назад.

Отец нашего философа, известный историк, был человеком не только большого таланта, но и чрезвычайно трезвого, уравновешенного ума. Эти черты, как и склонность стоять на реальной исторической почве, он передал своему сыну. Дед был пламенно верующий священник — и это чувство, и эти verba solemnia [13] с

необыкновенною силой возгорелись именно во внуке; священное пламя передалось *через одно поколение*, как это часто бывает наглядно в области физической. Восходящие по мужской линии в пятом или шестом поколении были крестьяне, дети народа. Мать Владимира Сергеевича, рожденная Романова, происходит из старинной и своеобразно даровитой малорусской семьи; одну ветвь этой семьи постигла загадочно-трагическая судьба (в Полтавской и Харьковской губ.), а к другой принадлежал известный украинский философ Григорий Саввич Сковорода. И в учении, и в личном характере, и в духовном складе Владимира Сергеевича я замечал весьма часто поразительное сходство с названным философом, пленительный нравственный облик которого живо сохранился в памяти его земляков. Юмор у Владимира Сергеевича был чисто малорусский — и этот юмор допускался им в самые заветные сферы мысли и чувства. Знаменитую эпитафию, которую при жизни сочинил для себя Сковорода: «*Мир меня ловил, но не поймал*», — с большим успехом и правом мог бы сочинить и Владимир Соловьев, не раз высказывавшийся в том же духе.

Родная бабка Владимира Сергеевича с материнской стороны, урожденная Бжесская [14], происходила из хорошей польской фамилии, чем опять-таки *органически* объясняются известные симпатии нашего философа к полякам и католичеству.

Совокупность этих богатых условий происхождения дала Владимиру Сергеевичу тот обаятельный облик и вместе ту загадочную сложность выражения, которые производили такое сильное впечатление на всех видевших его. Личное обаяние открыло ему путь к людским сердцам; с первых же шагов его деятельности до последних дней оно было верным и, пожалуй, самым сильным союзником его в борьбе за идеалы, которым он послужил с такою силою и славой.

Впервые выступил наш философ перед интеллигентною толпою 24 ноября 1874 года, когда защитил в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной философии», нанесшую богатырский удар тому беспочвенному, мнимонаучному и даже мнимоматериалистическому учению, которое именуется позитивизмом. Это был первый вызов, сделанный рыцарем духа кумиру, поклонение которому в 70-х годах было почти повальным. И самая книга, доказывавшая несостоятельность позитивизма и выдвигавшая на смену ему течение мистически-философское, и защита не менее смелая, чем самые тезисы юного вдохновенного борца за идею — все это было крупным событием в научной и общественной жизни и может быть отнесено к числу знаменательнейших моментов в истории русского самосознания.

В подтверждение только что высказанного приведу отрывки из двух писем очевидцев этого события. Первое принадлежит перу г. Малиновского, бывшего директора той гимназии, в которой воспитывался Владимир Соловьев. Письмо адресовано отцу нашего ученого, маститому историку. Вот оно:

«М. Г. Сергей Михайлович! Вчера на мою долю досталось провести 3 $^{1}/_{2}$ часа под влиянием такого сильного и приятного обаяния, какого я давным-давно не испытывал и каким я обязан виденному и слышанному мною в тот день беспримерно блистательному торжеству мысли и слова беспримерно юного магистранта, покорившего своим талантом всецело внимание многосотенной разнокалиберной массы слушателей и овладевшего вполне самым глубоким сочувствием всех, без изъятия, многочисленных солидных представителей истинной интеллигенции здешней столицы, посетивших диспут. Диспут этот, из множества слышанных мною за целые десятки лет в Харькове, Москве и Петербурге, был поистине самый замечательный и по серьозности, и по одушевлению, и по мощи отпора на множество высказанных возражений; впечатление, вынесенное мною из этих часов ученой беседы, так глубоко сильно, что и через сутки оно нисколько не утратило своей живости и свежести. Это же самое испытали на себе говорившие мне нынче о том многие из виденных мною сегодня в университете и в домах вчерашних сочувственных свидетелей научного торжества. Юный ученый чародей, так чудно овладевший не только искренним, но и почтительным сочувствием всех нас вчера, был, конечно, как Вы поняли из первых строчек, Владимир Сергеевич, бывший некогда Володя Соловьев, в 5-й Московской гимназии, мною когда-то устрояемой, золотой медальер...»

Переходя далее к своим служебным и личным делам, автор письма, сожалея о покинутой Москве, говорит, что самым дорогим из дорогих воспоминаний является для него памятование «о светлых личностях, вышедших из гимназии, подобных гг. Боголепову, Соловьеву, Писемскому и пр.».

Автор письма поздравляет счастливого отца и его семью «с таким сокровищем, как ваш Владимир Сергеевич, и с его замечательным триумфом — верным прецедентом долгой и славной плодотворной ученой деятельности, наследуемой и преемствуемой им счастливо от знаменитого в науке и отечестве отца...»

Должно быть, не даром далось юному магистранту это яркое торжество. Старый педагог заметил, как исхудал его питомец, — и спешит выразить пожелание, чтобы сразу поставленному высокому успеху «скорее и полнее стало соответствовать его здоро-

вье, видимо изнуренное громадною массою работы, понесенной еще не окрепшим и не сформировавшимся нежным организмом, нуждающимся, видимо, в укреплении и освежении на юге будущим летом. Пошли ему Господь, чтобы он так же победоносно справился с недугами и восторжествовал над наклонностью к хворанию, как он уничтожил и победил хитросплетения разъяренных доморощенных позитивистов, материалистов, нигилистов и т. п. в лице возражавших ему: бездарного и настолько же наглого доктора математики Р., даровитых, но сбившихся с прямого пути и до зубовного скрежета разъяренных Вольфзона и Лесевича и их компании. Этих господ он совсем побил, победивши в ту же пору отдавших ему полную дань справедливости солидных возражателей в лице гг. Владиславлева, Каринского и отчасти Срезневского...»

Таков отзыв доброжелательного образованного «среднего человека» из публики. Это отзыв типичный и имеющий, так сказать, количественное значение, так как высказанное здесь мнение разделяли все «свежие» и беспристрастные свидетели диспута. Для нас, однако, еще более ценно мнение человека с большим научным именем и значительною ролью в истории нашей общественности. Вот что пишет о первом успехе Владимира Соловьева известный наш историк, академик К. Н. Бестужев-Рюмин [15] вдове профессора С. В. Ешевского:

«Дорогая моя Юлия Петровна! Был вчера диспут вашего любимца Соловьева. Знаю, что он интересует вас, и потому спешу написать вам несколько слов. Такого диспута я не помню, и никогда мне не случалось встречать такую умственную силу лицом к лицу. Необыкновенная вера в то, что он говорит, необыкновенная находчивость, какое-то уверенное спокойствие — все это признаки высокого ума. Внешней манерой он много напоминает отца, даже в складе ума есть сходство; но мне кажется, что этот пойдет дальше. В нашем круге осталось какое-то обаятельное впечатление; Замысловский, выходя с диспута, сказал: “Он стоит точно пророк”. И действительно, было что-то вдохновенное. Оппонентов было много из публики, спор был оживленный; публика разделилась на две партии: одни хлопали Соловьеву, другие — его противникам. Если будущая деятельность оправдает надежды, возбужденные этим днем, *Россию можно поздравить с гениальным человеком...*»

Так ярко занялась заря, предвещавшая день, полный великих трудов и немалых бурь.

«Кризис западной философии» — произведение столь типичное для Владимира Соловьева как выражение его миросозерца-

ния и как основа всей его дальнейшей работы, что даже в настоящей главе, посвященной главным образом биографическому очерку утраченного нами мыслителя, уместно привести некоторые тезисы указанного сочинения. Для краткости ограничусь теми, которые приведены московским проф. А. Введенским в его замечательной статье «Призыв к самоуглублению» [16].

«Оба главных направления западной философии, — говорит юный магистрант Владимир Соловьев, — рационалистическое, ограничивающееся кругом общих логических понятий, и эмпирическое, ограничивающееся частными данными феноменальной действительности, сходятся в том существенном пункте, что оба одинаково отрицают собственное бытие как познаваемого, так и познающего, оставляя одну только абстрактную форму познания, почему оба эти направления могут быть подведены под общее понятие абстрактного формализма».

Доказав целым рядом метких замечаний и рассуждений несостоятельность западной философии и неверность главных ее путей, Владимир Соловьев заключает так:

«Общий необходимый результат западного философского развития в области учения о познании состоит в том, что чистое мышление и чистая эмпирия должны быть признаны одинаково невозможными, и истинный философский метод должен быть определен как конкретное мышление, состоящее в выведении из эмпирических данных того, что в них необходимо логически заключается. В области метафизики в качестве абсолютного Первоначала вместо прежних абстрактных сущностей *должен быть признан конкретный Всеединый Дух*. В области этики должно быть признано, что последняя цель и высшее благо достигаются только совокупностью существ посредством логически необходимого и абсолютно ценного хода мирового развития, конец которого есть уничтожение вещественного мира как вещественного и восстановление его как *царства духов во всеобщности Духа Абсолютного*».

Вскоре по одержании упомянутой духовной победы юный магистр берет продолжительный отпуск и едет за границу. Мимоходом взглянув на суетные забавы и преходящие красоты чужих краев, он спешит искать еще и еще знания. Главная цель его поездки — работа в Британском музее, где сосредоточено столько драгоценностей по части религии, каббалистики, оккультизма и т. д.

Англия оказала нашему философу неоценимые услуги не только в углублении понимания Божественной Истины, но и в вопросе *о формах ее воздействия на души людей*. Церковь

ап. Павла, выдвигающая такие оригинальные, с сильною практическою складкою умы, как Henry Drummond и т. п., не могла не дать мыслителю-бойцу полезных эмпирических и методических указаний. Имя Владимира Соловьева было уже известно и дорого лучшим представителям английской богословской и философской науки; его любили там, и тогда уже возникло название, теперь закрепленное за ним в Англии: the russian Carlyle, т. е. русский Карлейль, — название довольно удачное, так как в творческом облике Владимира Соловьева много общего с этим замечательным английским мыслителем.

Внутренняя созерцательная работа, происходившая в молодом философе в самый разгар его лондонских занятий, вызвала в нем неодолимое влечение к одной из колыбелей человеческих религий, к Египту. Он почувствовал потребность прислушаться к голосу матери-пустыни, достигнуть большей полноты и ненарушимости созерцания.

И вот он в Каире [17]. Изучает мусульманские секты, отыскивает древние следы христианства и, главное, *«внемлет пустыне»*. Полушутя описывает он впоследствии в автобиографической поэме то, что не раз сообщал в беседе друзьям: как после веселой болтовни за табльдотом с известным генералом Фадеевым [18] и другими соотечественниками он отправился в пустыню в костюме, непривычном для ее детей: высокий цилиндр, из-под которого выбивались волнистые густые волосы, просторная крылатка и тонкие бальные ботиночки. Бедуины приняли его за шайтана, для верности скрутили ему руки и отвели его подальше в пески, где и пришлось заночевать неосторожному туристу. «И бысть ему видение»:

И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул. Когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...

Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Очевидно, во внутреннем мире нашего философа за время пребывания в Египте произошло нечто решающее и таинственное, о чем он впоследствии часто любил вспоминать, но говорил и с музой и с друзьями лишь намеками.

К этой теме он возвращался во время самых разнообразных настроений и был неподражаем, когда юмористически рассказывал о пережитых в Каире впечатлениях. Эти рассказы послужили даже канвой для весьма талантливого, шуточного драматического произведения «Соловьев в Фиваиде», к сожалению неоконченного и ненапечатанного.

Эта интересная пьеса принадлежит бойкому перу одного из друзей Владимира Соловьева — даровитого поэта-дилетанта и художника графа Федора Соллогуба, безвременно угасшего несколько лет тому назад.

Сюжет пьесы таков: сатана, предвидя опасность от возникающей религиозно-философской силы, ставит молодому магистру всяческие западни. Сперва «заводит» старого сфинкса, который задает Соловьеву загадки, с неожиданной находчивостью им отгадываемые; затем из горсти праха сатана воссоздает красавицу, Савскую царицу, в роскошной одежде, окруженную пышным двором. Во втором действии царица устраивает блестящий маскарад, подающий повод автору весьма остроумно и метко «пройтись» на счет разных литературных и общественных явлений недавнего времени. К сожалению, хотя характер и даже внешние манеры Владимира Соловьева очерчены весьма удачно, пьеса прерывается на самом интересном месте — то есть прежде чем легкомысленная Савская царица успевала испытать силу своих чар над философом. Вот первый монолог сатаны:

На крылиях пустынного самума,
Как бурный вихрь, примчался я сюда, —
Зане меня тревожит сильно дума,
Что царству тьмы опять грозит беда.
Я долго почивал на лаврах безмятежных,
На ложе сладостном без терний, без репьев, —
Как вдруг среди степей Сарматии безбрежных
Явился новый враг, отважный Соловьев!
Родился сей злодей хоть без году неделя,
А корень зла успел уж потрясти:
В меня стрелой наук и дротом веры целя,
Он тщился мой престол с лица земли смести...

Главное действующее лицо — Владимир Соловьев, — по ремарке автора, «держит себя и говорит постоянно с утонченною простотой и достоинством»; выступает он с нижеследующим монологом:

Пустыней знойною в сей знойный час иду я,
Volente Deo[19], подвиг мой свершить.
Наград земных, крестов и звезд, не жду я!
О них, по-моему, не стоит говорить!
Одна звезда — звезда моей надежды,
И крест один — крест веры и любви!
Напрасно мнят чиновные невежды
Обресть спасение средь светской суеты!
О нет! В тени суровой Фиваиды
Укроюсь я на лоне тишины
От жгучих стрел исчадия Киприды,
От пагубных капканов сатаны.

Из загадок сфинкса забавнее всех нижеследующая:

С ф и н к с

. . . . . .

Всю разницу меж мною и тобою
Мне вырази ты буквою двойною.

С о л о в ь е в

О-Е.

С ф и н к с

Почему?

С о л о в ь е в

Пространен ты, престранен я!
Верна ли отповедь моя?

С ф и н к с
(*безмолствует, смущенный*)

С о л о в ь е в

На декорацию вы годны лишь в «Аиду»!
Покойной ночи вам, отправлюсь в Фиваиду!..

(Удаляется победными, но скромно-задумчивыми шагами).

Тут звучат уже кое-какие намеки на недавний диспут и разгром оппонентов, годных «на декорацию в “Аиду”»...

Вернувшись из заграничного путешествия, Владимир Соловьев продолжал в Москве готовиться к докторской диссертации и приват-доцентствовать. Но там ему недолго пожилось. В профессорской корпорации выходили разные неприятности, от которых молодой философ лично сторонился, не стесняясь, однако, высказывать взгляды, не нравившиеся влиятельному большинству, и вообще держа себя с полною самостоятельностью. В частности, он принял сторону М. Н. Каткова в одной факультетской распре [20], в которой считал его правым.

В эту пору он был лично близок также с И. С. Аксаковым, К. Н. Леонтьевым и другими славянофилами. Огромный ум Леонтьева, редкая оригинальность и смелость его мыслей, а также способность этого человека зажигать и побуждать к работе всех, имевших с ним общение, не могли не отразиться благотворно на нашем философе, у которого в складе ума и в темпераменте было с ним немало общего.

Три умнейших человека в Москве — Катков, Аксаков и Леонтьев — относились к Соловьеву почти с обожанием, которое несколько ослабело впоследствии у двух первых, а Леонтьева не покидало до конца дней. Даже когда они довольно резко разошлись в религиозно-политических взглядах, глубоконезависимый Леонтьев, как он сам в этом признается, поколебался, и если не пошел прямо за Соловьевым, то следил за ним с сочувственным замиранием сердца.

1877 год принадлежит к числу значительных в жизни молодого философа: он переезжает в Петербург, принимает должность члена ученого комитета Министерства народного просвещения и одновременно приступает к практическорму осуществлению одной из давно намеченных идейных задач. Он читает в Соляном Городке вдохновенные и, если можно так выразиться, *центральные* лекции «О Богочеловечестве» (напеч. в 1878—1880 гг. в «Православном обозрении») [21], привлекает в свою аудиторию Бестужевских высших женских курсов цвет интеллигенции проповедью заветных религиозно-философских идей. Достоевский тесно сближается с ним. Слава молодого философа, его обаяние во всех слоях образованного общества все растет, волна житейских соблазнов плещет у ног его, грозя духовной и жизненной свободе. Но он стоит незыблемо, радуясь успеху не для себя, а для своего дела.

Окрыленный успехом, он «дерзает», пытается поднять уровень самосознания в нашем обществе. Мужественною попыткою

такого рода является его речь «Три силы», произнесенная в московском «Обществе любителей российской словесности» в 1877 году. Не церемонится он в этой речи с разною гнилью и плесенью, одолевающими нашу общественную жизнь:

«Мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая, вместо образа Божия, все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, — мы должны же наконец увидать свое жалкое положение, должны постараться *восстановить в себе русский народный характер*, перестать творить себе кумира из всякой узкой и ничтожной идейки!..»

Оторванность интеллигенции от народа, шаблонность полусознательной мысли и вялых чувств, «болотность» жизни с ее тиною плохо прикрытых животных интересов — все это вызывает негодование в пылком поборнике живой правды, который восклицает, что русскому обществу пора освободиться «от той житейской дряни, которая наполняет наше сердце, и от той мнимонаучной школьной дряни, которая наполняет нашу голову...»

Другому человеку, с менее очевидными правами на уважение и доверие общества, не простили бы приведенных горьких слов да и всего того, с чем выступил юный богатырь вдохновенной мысли. Ему-то, положим, и не простили этого кое-какие журнальные заправилы, но обрушиться на него или, по обычаю этих господ, обвинить его в чем-либо нехорошем никто не посмел, потому что ложь была бы слишком очевидною в глазах общества.

Известность и обаяние Владимира Соловьева все продолжали расти. Наряду с деятельностью, которую проще всего назвать *проповедническою*, молодой ученый печатал в «Журнале Министерства народного просвещения» строго научное сочинение «Начала цельного знания», оставшееся, к сожалению, незаконченным, и готовился к своей докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», которую и защитил в 1880 году с громадным успехом. Появление этого сочинения дало молодому ученому славу более прочную и серьезную, нежели шумную, так как ни привлекательная личность докторанта, ни его талант и руководящие идеи не были уже новинкой для большой публики, — а ценить по достоинству новый труд его могли только немногие знатоки.

Владимир Соловьев затем поступил приват-доцентом в С.-Петербургский университет и с полным основанием ожидал профессуры, к некоторому, довольно наглядному смущению тогдашнего профессора философии (впоследствии ректора) М. И. Владиславлева, труженика с дарованием гораздо более заурядным, не особенно радовавшегося такому конкуренту.

Сверстник, собрат и друг покойного Владимира Сергеевича Э. Л. Радлов в прекрасной статье, посвященной его памяти, говорит по этому поводу:

«Мы не думаем, чтобы профессорская деятельность могла его надолго удовлетворить. Ему нужны были более обширная аудитория и более широкий круг слушателей. Но в начале 80-х годов покойный мечтал о профессуре, и несколько лет спокойной университетской деятельности позволили бы ему окончить ряд научных трудов, которые им были задуманы и не доведены до конца (например, «Эстетика», «Гносеология»). И это было бы тем выполнимее, что трудно найти жизнь, которая была бы более посвящена служению одной идее, чем жизнь Вл. С. Соловьева. *Если у него и были сомнения и колебания, то они были пережиты им прежде, чем он выступил печатно*; в трудах же его мы постоянно встречаемся с одним и тем же основным принципом. Этот принцип вполне ясно выражен и обоснован в первых философских работах, особенно в "Критике отвлеченных начал"».

Нельзя не согласиться с мнением почтенного ученого, за исключением слов, перепечатанных курсивом: они требуют некоторой оговорки, к которой мне придется обратиться в главе о политическом значении и направлении Вл. С. Соловьева. Во всяком случае, Э. Л. Радлов совершенно прав, указывая на чрезвычайную религиозно-философскую *цельность* Соловьева и сожалея о том, что ему не удалось завершить основной, принципиальной части своего труда. Покойный неминуемо сделал бы это, потому что оно было, строго говоря, лишь вопросом времени и досуга.

Перед ним открывалась широкая перспектива мирного плодотворного труда, а также, несомненно, и быстрая служебная карьера. И в бюрократических сферах у него образовались значительные связи, а в нескольких великосветских и придворных coteries [22] (семьи кн. Волконских, Оболенских, Абаза, вдовы известного поэта графини С. А. Толстой и др.) он был не менее любим, чем среди учащейся молодежи.

Судьба решила по-своему. Ужасная катастрофа 1 марта, столь болезненно отразившаяся в сердцах русского общества, была косвенною причиною переворота в жизни Вл. С. Соловьева. Речь против смертной казни, произнесенная им в марте же 1881 года [23] в зале Кредитного общества и вызвавшая восторг одних, негодование других и недоумение третьих, была прямой причиной кризиса. После этого «дерзания» философ невольно покидает и службу, и университет, лишает себя постоянного местожительства и,

так сказать, выходит в открытое море литературно-научного труда.

Он проживает то в Москве, то в деревне у кого-либо из приятелей, например у А. А. Фета-Шеншина, то за границей, заезжая сначала довольно редко в Петербург, где нашлось много охотников рисовать его человеком беспокойным и даже вредным. До 1888 г. он помещает статьи свои главным образом в «Русском вестнике», аксаковской «Руси», «Православном обозрении», «Известиях Славянского общества» и т. д., а с февраля 1888 года, как говорят в литературе, «переходит» в «Вестник Европы» и целым рядом статей по национальному и религиозному вопросам вызывает большой шум. Одни восхищаются, другие негодуют, — но все, друзья и враги, читают жадно каждую огненную строку, выливающуюся из-под этого пера.

Сочинения, которые до выхода в свет «Оправдания добра» Вл. С. Соловьев считал главными своими трудами, появляются за указанный период за границей, а не в России, по причинам цензурным, ныне, вероятно, устранимым, так как они относились скорее к числу цензурных недоразумений. Это — первый том книги «История и будущность теократии», «L'idée russe» и «La Russie et l'église universelle». Первое сочинение напечатано в Загребе и изобилует таким количеством опечаток, что покойный автор даже приходил иногда в уныние по этому поводу; последние два изданы в Париже и написаны превосходным французским языком, напоминающим стиль Боссюэта, которого Владимир Соловьев весьма любил и изучил до тонкости.

Указанные сочинения, как и некоторые статьи, напечатанные в России, подавали одно время повод противникам Соловьева называть его «католиком», «ренегатом» и т. д. Потом это улеглось.

По мере сближения с петербургскими журналами (сперва «Вестник Европы», потом урывками «Северный вестник», а в последнее время весьма часто «Книжки "Недели"», «Русь», издания В. П. Гайдебурова и др. изд.) Владимир Соловьев все более тяготеет к северной столице.

В начале 90-х годов он становится во главе философского отдела словаря Брокгауза и Ефрона, усердно сотрудничая в то же время в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Легенда о «нелегальности» Вл. С. Соловьева мало-помалу рассеивается, как туман; нашего философа выбирают в почетные члены разных ученых обществ, он участвует в литературных вечерах и изредка читает публичные лекции, по-прежнему привлекая напряженное внимание слушателей и вызывая бурю восторга.

В 90-х годах выходят в свет: сборник его стихотворений, выдержавший по настоящее время четыре издания, затем обширный философский труд «Оправдание добра», за краткий срок выдержавший два издания; потом обаятельная по ясности и глубине чувства книга «Духовные основы жизни» (3-м изданием, после 12-летнего перерыва) и, наконец, «Три разговора (Под пальмами)».

Кроме того, нашим философом был начат в сотрудничестве с братом, покойным ныне М. С. Соловьевым, перевод творений его любимого древнего мыслителя Платона, публичная лекция о котором, одна из последних, произнесенных Вл. С. Соловьевым, вызвала огромный интерес в образованном обществе. В последние же годы появилась превосходно написанная им биография и характеристика Магомета (изд. Павленкова), вышел под редакцией Вл. С. целый ряд переводов сочинений по философии и психологии. Большое наслаждение любителям литературы доставили его критические статьи о гр. Алексее Толстом, Тютчеве, гр. Голенищеве-Кутузове и др., а немало споров вызвало все, что написано было им о Пушкине.

Когда в память Пушкина было учреждено звание почетного академика, Вл. Соловьев был призван в число избранников [24], художников русского слова, а в скором времени ему предстояло быть действительным членом Академии наук.

Последние десять лет мне выпало на долю немалое счастье близко знать покойного Владимира Сергеевича, и я попытаюсь теперь по мере сил очертить, покуда хоть беглыми штрихами, главные идеи его и в заключение эту беспримерно дивную личность, обаятельные черты которой неизгладимо запечатлелись в сердце каждого, кому являлось это светлое видение.

* * *

В памяти всех, кто хоть раз видел Владимира Соловьева, самая внешность его запечатлелась навсегда, как лучезарное видение. Таинственно-прекрасные глаза, под впечатлением которых приходила на мысль известная картина Габриэля Макса [25]; высокое чело с наглядным отпечатком дум и забот; густые, энергичные брови, пышные волосы с сильною проседью, крупными волнами окаймлявшие матово-бледное лицо; пушистая длинная темно-каштановая борода, скрашивавшая суровые очертания рта и подбородка.

Многими было основательно замечено, что верх и низ лица были у Владимира Соловьева в каком-то странном несоответст-

вии, точно служили выражением различного духовного склада или даже принадлежали двум разным лицам. Общему чарующему впечатлению эта раздвоенность облика, однако, не вредила, так как преобладание высших душевных черт наглядно отражалось на этом замечательном лице.

Руки у Владимира Соловьва были необычайно белые, аристократичные; если допустить некоторый импрессионизм, то можно сказать, что это были умные и добрые руки католического епископа.

Манеры, полные утонченного достоинства и неподдельной простоты; добрая улыбка, в которой выражалась неизъяснимая душевная теплота; густой грудной баритон, обладавший какою-то особенной убедительностью; наконец, детский, иногда неудержимый смех с неожиданными презабавными икающими высокими нотами — смех человека с чистою совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенною свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья. Все это дорисовывало своеобразный облик, обладавший редкою силою симпатичности.

Это было одно из тех лиц, пред которыми можно высказываться только откровенно, а светская условная ложь кажется грехом. Даже как-то неловко было бы дать ему неполный или уклончивый ответ на тот или иной вопрос или, не согласившись с ним, не выяснить тут же принципиальной причины такого несогласия.

Особенно сильное впечатление производил он на детей и простолюдинов, то есть именно на тех, чья совесть наименее разъедена ржавчиною всяческой лжи; они чувствовали праведность этой души и тянулись к ней, как к свету. Сколько мне ни приходилось видеть простолюдинов, знавших Владимира Сергеевича, — все к нему относились как к лицу с какими-то особыми духовными полномочиями свыше.

Очень забавный и характерный случай в этом роде, если не ошибаюсь, описанный уже В. А. Тихоновым, произошел однажды близ Иматры при мне. Владимир Соловьев там проживал зимою 1894/95 года на вилле Рауха и пользовался всеобщею симпатиею окрестных жителей; содержатель отеля, г. Альм, и все местные интеллигентные финляндцы называли Владимира Сергеевича Herr Professor [26], а кучер, часто возивший Соловьева по окрестностям, кроткий, забитый судьбою мужичонка, нашедший в Финляндии убежище от злой жены и от паспортной волокиты, буквально влюбился в нашего мыслителя и не упускал

случая изливать ему свои печали или хоть поговорить о чем-либо «душевном».

По длинным волосам и длиннополой зимней одежде, а главное, по какому-то внутреннему чувству этот кучер считал Владимира Сергеевича духовным лицом; об имени его он спросить не успел, а, слыша разговоры своего хозяина, сам изобрел и приписал Владимиру Сергеевичу имя совсем особенное: «отец Парфенсон», как переделка слова «профессор». Покойный Владимир Сергеевич истерически расхохотался, впервые услыхав такое обращение, сердечно полюбил его наивного автора и потом часто вспоминал об этом эпизоде. У моих родственников есть томик стихотворений Вл. С. Соловьева, надписанный «на добрую память от отца Парфенсона».

Какое-то мистическое доверие внушал Владимир Сергеевич животным. Мне случалось раза два присутствовать при водворении его с вокзала в номер гостиницы: едва успеет он приехать и потребовать себе стакан кофе, как уже в оконные стекла бьются десятки голубей. Положим, он любил кормить их размоченною булкою; но каким образом птицы узнавали о приезде Владимира Сергеевича, прежде чем он приступал к их кормлению, — это уже их тайна. Та же история повторялась с окнами моей квартиры, когда там поселялся Соловьев.

Но самое интересное проявление инстинктивной симпатии животных к Соловьеву я видел со стороны собственной своей собаки. С нею у Владимира Сергеевича были какие-то особенные, приятельские отношения. Когда он поселился у меня, собака, обыкновенно весьма игривая и резвая, готова была целыми часами просиживать в его комнате, прислушиваясь к скрипению его пера. Даже запах скипидара, всюду сопровождавший Владимира Сергеевича и обыкновенно не нравящийся животным, не мешал этому тяготению собаки к мыслителю. Владимир Сергеевич очень ценил эту привязанность и, бывало, гладя умильно глядевшего песика по косматой голове, говаривал:

— Что такое собаки?! По-моему, это не собаки, а какие-то особенные существа!..

У меня сохранились письма, в которых Владимир Сергеевич «жмет лапу Мартышке». Когда дорогой всему дому гость уезжал, собака начинала серьезно грустить, и если, бывало, кто-нибудь подойдет к ней и спросит: «Где Соловьев?» — она принималась жалобно визжать и бегать по комнатам, точно разыскивая кого-то.

Сближение мое с почившим мыслителем произошло как-то сразу и неожиданно для нас обоих. Как теперь помню, прочел я

в «Вестнике Европы» зимою 1890/91 года интересную статью Владимира Соловьева [27] и возымел страстное желание поднести этому незнакомому человеку только что вышедший тогда первый сборник моих стихотворений.

Владимир Сергеевич жил тогда в «Европейской» гостинице, под самым небом. Я встретил его выходящим из комнаты, уже в шубе и с какими-то бумагами в руках. Он хотел вернуться в комнату, я постеснялся, и мы минут двадцать простояли на пороге, причем успели наговорить друг другу много такого, что обусловливается обыкновенно лишь давнишнею близостью.

Беседа продолжалась на следующий день у меня и отличалась еще большей задушевностью. Вскоре затем Владимир Сергеевич прислал мне первый том своего «Национального вопроса», обещая заехать на днях и отметив, что интересуется моим мнением об этой книге.

Решающим для наших отношений было следующее свидание, когда я откровенно высказал Владимиру Сергеевичу, что, во-первых, разделяю далеко не все взгляды, проводимые им в названной книге, но вижу в нем прежде всего *славянофила, горячо любящего Россию*. Последнее, по-видимому, было ему особенно приятно; по крайней мере, он тогда же задал мне ряд вопросов, из которых видно было, что он именно в таком смысле и желал быть понятым.

Считаю нужным отметить это теперь, когда некоторые публицисты, как, например, г. Спасович [28], опираясь на отдельные строки, тенденциозно выхваченные из его писаний, и на некоторые *вспышки* западнического рвения со стороны Соловьева, стараются представить его *коренным* врагом славянофильства. Эти искажения духовного облика почившего мыслителя, в одних случаях объясняемые партийною близорукостью лиц, пишущих о нем, иногда обусловливаются, в сущности, малым уважением и к его памяти, и к свободе мнений, и к правде. Лицам, близко знавшим покойного, это, конечно, весьма нерадостно...

Кроме идейного уважения и все возраставшей личной симпатии к этому обаятельному человеку стимулом к тому, чтобы возможно чаще видеться с ним, явилось пламенное желание целого кружка моих собратьев, тосковаших от скудости душевной жизни в литературной среде и находивших высокую отраду в общении с Владимиром Сергеевичем.

Жил он, как и мыслил, весьма своеобразно: презирая пространство, время, деньги и всякую земную условность. Ему ничего не стоило раздать все свои вещи до предметов одежды включительно, а потом носить фрак с бурыми пиджачными брюками

или наоборот: временно надевать шубу одного приятеля и увозить за тридевять земель шляпу другого. Только в течение последних нескольких лет было у него настоящее зимнее пальто, доставшееся ему после покойного Фета, любовная память о котором мешала ему подарить кому-нибудь эту необходимую вещь. Новый пиджак он сшил себе однажды вследствие случайной встречи с моим портным, почтенным немцем, заочно почитавшим Владимира Соловьева и громко ужаснувшимся при виде «такого замечательного ученого в непрезентабельной одежде». Он предложил оказать какой угодно кредит, лишь бы Владимир Сергеевич сделал ему честь заказать костюм у него. Философ случайно был при деньгах и кредита не принял, а настояниям почитателя-портного должен был уступить и впоследствии неоднократно справлялся о его здоровье.

Благотворительность и щедрость Владимира Сергеевича были беспредельны. Постоянно нуждаясь в деньгах, он умудрялся оказывать денежные услуги друзьям и знакомым, а прислугу, извозчиков и иных простолюдинов баловал истинно королевскими «чаями». Он усматривал в этом не только легкий способ делать приятное людям, но и восстановление «непосредственной экономической справедливости», как он выразился однажды в ответ на приятельский упрек в расточительности.

И здесь, и в Москве он был известен и дорог многим сотням нищих гораздо более, чем иной толстосум, периодически обуреваемый покаянною щедростью. Его приятели Мартыновы [29], жившие в Москве в весьма «чистом» переулке стародворянского района, заметили, что после их сближения с Соловьевым в переулке не стало проходу от нищих.

Если к нему приходил бедняк за пособием, а деньги уже иссякли, то он отдавал ему носовой платок или часть одежды, ненужную в тот момент, или, наконец, калоши, а в крайнем случае посылал просителя с письмом к кому-либо из друзей, на отзывчивость которых рассчитывал. Мне случалось получать от него записки вроде нижеследующей:

«Податель этих строк, г. N.N., просит у меня 5 рублей на свадьбу, а у меня нет денег. Боюсь согрешить, но мне почему-то кажется, что это уже не первая просьба такого рода и что, стало быть, он женится далеко не в первый раз. Осуждать, впрочем, не смею: мало ли к чему иногда судьба может принудить человека! Пожалуйста, взгляни на него испытующим оком, и если признаешь нужным, то дай ему просимое: сочтемся, когда получу из “Словаря” за статью».

А вот весьма характерный эпизод, довольно сложный и богатый в некотором роде эпическими подробностями.

Однажды целый кружок друзей ожидал Владимира Сергеевича у меня к обеду, к 6 часам. Пробило 6, 7, половина восьмого, а Владимира Сергеевича нет. У гостей вытянутые физиономии, кухарка начинает грубить, хозяйка дома чуть не плачет. Не случилось ли чего?

Еду в «Европейскую» гостиницу, влезаю на пятый этаж. Вижу, лежит мой Владимир Сергеевич, подняв ноги на спинку дивана, так что они гораздо выше головы. Обыкновенная бледность его еще усилилась, глаза полузакрыты... просто ужас!

Он обрадовался безмерно тому, что на него никто не рассердился. Оказывается, он вовсе не забыл назначенного часа, а просто вышло роковое сцепление обстоятельств, целая трагикомическая эпопея, которую стоит рассказать.

В этот день он встал рано и пошел покупать себе ботинки в гостином дворе. Выбирал, выбирал по мерке — и никак не мог найти подходящих. Наконец ему показалось, что приказчик тяготится этой возней; тогда он взял первую попавшуюся пару и надел ее, так как собирался с визитом в какой-то великосветский дом, — а старые ботинки завернул в бумагу и взял под мышку. Ради экономии (у него оставалось три рубля мелочью) и чтобы разносить ботинки, он пошел пешком на Васильевский остров, в типографию Стасюлевича, где печаталась его книга. Дорогою к нему приставали нищие, которым он отдал все деньги, кошелек, пустой бумажник, носовой платок и старые ботинки.

— К счастью, часов при себе не было, — добавил он мрачно.

— Почему же к счастью? Неужели и они достались бы нищим?

— Нет, это память отца. Я бы не отдал, а потом было бы както совестно.

Пришлось бедному философу возвратиться домой пешком уже поневоле, и притом в узких ботинках, ставших истинным орудием пытки. Утомился он чрезвычайно и не в силах был даже думать о том, чтобы идти пешком обедать в гости. Говорю ему:

— Дорогой Владимир Сергеевич, да ведь можно же было приехать и велеть моему швейцару заплатить извозчику.

Раздается пронзительный хохот.

— Ведь как просто, а не сообразил! И в самом деле, я ведь ничего не ел с утра.

— Так поедемте обедать или, вернее, теперь уже ужинать. Угощу вас любимым вашим сельдереем.

— Голубчик, оно хорошо бы, да старых ботинок нет, а эти, проклятые, жмут!.. Впрочем, это ничего: на этот раз я, кажется, их перехитрю!

Владимир Сергеевич вскакивает с дивана и перочинным ножичком разрезает новые ботинки на тех местах, где они были особенно нестерпимы. Затем он едет обедать и пленяет всех истинно детскою веселостью.

Он был в тот день необычайно в ударе как под впечатлением снятия «сапожного гнета», так и потому, что в числе гостей был Н. С. Лесков, остроумие которого действовало на него зажигательно.

Вообще, эти два человека, столь несхожие между собою по видимости, всегда оживлялись при встрече и удивительно умели давать друг другу реплику, сверкающую остроумием. Людям, видевшим это, кажется, что высший род смеха исчез, после того как нельзя уже на земле возобновить встречу этих двух глубоких и серьезных умов, которым была столь свойственна тонкая шутка.

О благах мира сего и даже о собственном здоровье Владимир Сергеевич почти не заботился, а если иногда и обращал внимание на последнее, то разве полушутя. Зимою 1895 года он пишет мне с Иматры, между прочим, следующее:

«Спасибо за беспокойство [30] о моем здоровье. Пока, слава Богу, я только мерзну отчасти, но не болею. Думаю, что привык к этому перемежающемуся замерзанию и оттаиванию».

А вот полученное летом того же года письмо, в котором кроме сведений о здоровье Вл. Соловьева и малой его мнительности проглядывают и воззрения покойного Владимира Сергеевича на человеческие планы [31]:

«Милый друг!

Я до сих пор в казармах [32] и только в среду, 14-го июня, могу выбраться из города в ближайшие места. Разве я не говорил тебе много раз, что я не настолько безумен, чтобы в житейских делах принимать *решения*, особенно на долгий срок, и что всякие мои обещания в этой области выражают только мои желания и предположения?! Если бы мне можно было уехать в Финляндию в конце мая, то во второй половине июня я мог бы быть у вас. Но теперь все это расстроилось. Тем не менее я желаю и предполагаю праздновать с вами свое рождение. За последнее время я был болен, а главное, удручен скоплением срочной работы. Сегодня первый сравнительно свободный день. Что касается болезни, то привезенный моим приятелями доктор кроме многого другого нашел увеличение печени и раздражение внутренней оболочки

сердца — и предписал, между прочим, воздержание “от вина и ликера” (вместо «сикера», по версии типографского корректора), куда он включил также пиво и даже кофе. Я следую с успехом этому предписанию. Чтобы ты не беспокоился, прибавлю, что этот самый доктор, хотя нашел у меня артериосклероз второстепенных сосудов, но вместе с тем “константировал”, что аорта эластична, как у 17-летнего, на основании чего предрек мне долгую жизнь, чего и вам от души желая, остаюсь, милые друзья, неизменно вас любящий Вл. Соловьев».

Увы! Плохим пророком оказался этот доктор! Ведь это было так незадолго до его кончины! Я ожидал тогда Владимира Сергеевича к себе на дачу в Ассерн близ Риги, да так и не дождался. Оказалось потом, что он был серьезно болен, и здешние друзья перепугались не на шутку. Кроме того, и в здоровом состоянии он обладал удивительною способностью застрять в каждом месте, куда попадал, особенно если там у него спорилась работа. Он любил оправдывать эту инертность общими соображениями. «Всякое *действие*, — пишет он однажды, — нужно откладывать до последней возможности. Довлеет дневи злоба его» [33].

Его «дневи», однако, материальная злоба была обыкновенно безразлична. Пробовал он, например, жить в Царском Селе, чтобы уединиться и работать на просторе: квартира была прямо идеальная в отношении всяких неудобств и нестерпимого холода, еда — сущий миф; а посетители не отставали и тут. Предпоследние два года прожил он в Петербурге, на Потемкинской улице, в холодной и почти не меблированной квартире, без прислуги. Когда дворничиха вспомнит, что надо протопить, температура становится выносимее; если забудет, то сам философ, когда уж очень промерзнет, наколет дров и сунет их в печку, а не то так и просидит в холоде.

Родных он иногда доводил до отчаяния своею беззаботностью. В оставленном им в мое распоряжение пакете с письмами я нашел следующую записку одной из его сестер, сообщаемую здесь с ее разрешения.

«Дорогой Володя!

В третий раз пишу тебе и не могу добиться, чтобы ты сообщил, куда выслать тебе шубу. Ведь это, наконец, не по-христиански!..»

«Не по-христиански!..» Это уже крайний аргумент, перед которым должна была спасовать упорная инертность Владимира Сергеевича по отношению к материальной злобе дня. Развив в себе эту черту в силу побуждений, о которых будет сказано ниже, он иногда, впрочем, и сам бывал ею недоволен. «Вот и свободный по видимости человек, — говорит он в одной торопливой за-

писочке, — а за несколько часов не могу накануне ручаться!» Особенно дорого во всех отношениях обходилась ему эта черта, когда он проживал в гостинице целыми месяцами (за последние годы преимущественно в гостинице «Англия», близ Исаакиевского собора). Если был там кое-какой внешний комфорт, то не было самого главного — покоя. То и дело ходили к нему либо друзья, не могущие превозмочь своей потребности общения с этим светлым человеком, либо люди, просившие на «похороны матери» (давно умершей) или «на свадьбу» (далеко не первую), либо молодые начинающие писатели, которым он помогал и литературными советами, и всякими иными способами. Сколько малоценных произведений он проредактировал или хоть исправил, скольким облегчил первые шаги на литературном поприще — это не поддается никакому учету. А сколько времени, хлопот и сердечного участия он отдал всякого рода гонимым людям, искавшим его заступничества! Ради них отчасти он поддерживал отношения с влиятельными сферами и бывал неутомим как ходатай за других. И при этом ни тени раздражения, ни малейшей нетерпеливости даже по отношению к тем, кто напрашивался на нее. Часто видел я, например, у него одну старую, ужасно антипатичную женщину с неискоренимым запахом водки, просившую подачек под видом работы. Она брала переписку, хотя почерк ее был ужасен, а безграмотность просто феноменальна. Владимир Сергеевич давал ей несколько раз подряд переписывать одно и то же произведение, давно уже напечатанное. Эта старушка не оставляла его даже заочно и преследовала телеграммами с просьбой о пособиях, когда он уезжал куда-нибудь. Кротость его не знала границ, и только изредка он шутя говаривал: «Удивительное у нее постоянство! Будь она менее отрицательной внешности, — пожалуй, могла бы кого угодно скомпрометировать тоном своих требований».

Соберутся друзья или добрые знакомые — и сейчас же Владимир Сергеевич ощущает потребность угостить чем-нибудь, хоть чашкой кофе, а если подходит время к завтраку, то и стаканом вина. Если гости близкие дерзали отказываться, то Владимир Сергеевич становился деспотичен:

— Нет, хоть стакан ассмансгейзеру за здоровье одного человека, с которым у меня серьезные сердечные счеты.

Он в данном случае упоминал о художнике П. В. Жуковском[34], авторе памятника Александру II в Москве и сыне великого нашего поэта.

Глядь, и краткое петербургское утро прошло, подкрались сумерки — и надо ехать куда-нибудь «по делу», то есть хлопотать

о ком-нибудь, гонимом судьбой или людьми. А работа, оставленная на полуслове, отнимет у Владимира Сергеевича долгую ночь; нагнется его косматая голова над столом — и заболят его близорукие глаза от напряжения. Надо торопиться, так как ждут и «Энциклопедический словарь», и «Вестник Европы», и философский журнал, и «Книжки "Недели"». Последний срок подходит, работа в типографиях рискует приостановкой. Да и редакционные авансы надо покрыть: жизнь в гостинице дорога, и число бедняков, просящих помощи, заметно растет. А главное, нужно торопиться с работой, потому что в таком-то повременном издании кто-нибудь высказал мысль языческого свойства: необходимо ее опровергнуть поскорее.

Усталый, изнеможенный, ложится наш мыслитель в седьмом часу утра в холодную постель, забыв, что форточка не заперта и со двора вползает в комнату какой-то промозглый туман, от которого озноб пробирает человека. А часов в 10 или 11 утра стук в дверь, и грудной голос просыпающегося Владимира Соловьева добродушно отвечает: «Herein!..» [35] — и опять та же история!..

Какие-то газетные зоилы посмеялись однажды, когда Владимир Сергеевич напечатал в «Новом времени» письмо, в котором просил посторонних посетителей и корреспондентов немножко пощадить его, дать ему окончить главные из намеченных трудов. Заплачут теперь многие, вспомнив, что не стало человека настолько доброго, что он просил пощады даже у тех, кто мешал ему работать.

Однако наряду с беззаботностью у Владимира Сегеевича иногда проявлялась презабавная находчивость, когда внешние условия жизни уж очень теснили его. Мне вспоминается следующий характерный факт, приведенный также В. Д. Кузьминым-Караваевым в его статье о Вл. С. Соловьеве. Когда Владимир Сергеевич поселился на Потемкинской улице, дворник стал приставать к нему из-за паспорта, а паспорт где-то затерялся во время частых переездов. Сидит наш философ за столом, уткнувшись лицом в работу, слышит покашливание дворника и оборачивается:

— Чего вам?

— Насчет пачпорта, ваше благородие!

Владимир Сергеевич беспомощно ищет что-то в куче бумаг, не находит, потом вынимает трехрублевку и подает:

— Пожалуйста, вы, голубчик, того... Я вам как-нибудь потом!

— Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!

Через неделю та же история, с производством философа в генеральский чин за трехрублевку. Так несколько раз. Но вот од-

нажды дворник приходит и, предварительно получив свое, продолжает упорно стоять. Владимир Сергеевич оборачивается:

— Как? Вы еще здесь? Вы же свое получили?

— Точно так-с! Покорно благодарим! А только околоточный сурьезно сказал, что без пачпорта нельзя-с. Меня уволят, ежели не представлю!

— А, хорошо! Сейчас, сейчас!

Владимир Сергеевич садится и сам себе пишет следующий вид на жительство:

«Предъявитель сего, отставной коллежский советник, доктор философии, бывший приват-доцент С.-Петербургского университета, Владимир Сергеевич Соловьев. Справиться предлагаю у товарища министра имярек и у помощника градоначальника имярек...»

С тех пор его радикально оставили в покое.

Иногда, предвкушая мытарства гостиничной жизни или чувствуя утомление от них, Владимир Сергеевич поддавался на усиленные приглашения кого-либо из своих приятелей и перебирался к нему. Между ближайшими к нему людьми даже соблюдалась в этом отношении некоторая очередь, ибо каждый хотел залучить дорогого гостя к себе. В день, назначенный для переезда, это зачастую не удавалось, причем Владимир Сергеевич конфузился и старался отшутиться. Вот, например, отрывок из одного подобного письма:

«Переселение мое в ваш кабинет может состояться только в четверг — по причинам маловажным sub specie aeternitatis [36], но настоятельным sub specie svinitatis (species nova, non re scilicet, sed verbo, prius non audita, a me inventa et in latinitatem infimam introducta) — de quibus scribere non opportet [37].

А в пятницу я буду свободен воспользоваться любезным приглашением вашим и относительно обеда. До скорого свидания. Неизменно вас любящий sub speciebus omnibus [38]».

Svinitas, или попросту свинство, о котором здесь упоминается, заключалось в том, что какой-то собрат по перу занял у него на три дня все бывшие у него деньги и затем куда-то испарился, так что нельзя было выехать из гостиницы до получения новых подкреплений. Владимир Сергеевич при этом как-то умудрялся оправдывать должника, говоря, что он «неосторожен, но зато талантлив». Когда наконец переезд начинался взаправду, Владимир Сергеевич сверх словесного заявления считал нужным порадовать хозяев еще письмецом и прибавлял какую-нибудь просьбу, зная, что этим доставит удовольствие:

«Почти уложился, пришлю с комиссионером свою рухлядь, несколько позднее предстану и сам. Это *наверно*, и в доказательство обращаюсь к вам с бесцеремонною просьбою: сказать вашей прислуге, чтобы приготовили мне ванну часу к 12-му вечера. Примите это не за наглость, а за дружескую интимность».

По выражению одной моей старой служанки, с переездом Владимира Сергеевича в дом «нисходило благословение»: всем становилось как-то легко на душе, житейские огорчения и дрязги казались ничтожными, мысль сама собою настраивалась более высоко, и всем работалось спорее. В доме, конечно, становилось тише, потому что все домочадцы сознавали необходимость дать гостю покой и возможность заниматься.

А работоспособность его была прямо изумительна. Он мог просидеть 6–7 часов подряд, не отрываясь от письменного стола, затем заснуть часа на два и проснуться самостоятельно часа в три утра, чтоб опять сесть за работу до полудня. Для верности просит, бывало, разбудить его, если знает, например, что я собираюсь очень поздно лечь; но за много месяцев совместной жизни я не помню случая, чтоб он оказался не проснувшимся самостоятельно, при помощи какого-то внутреннего усилия воли, не покидавшей его и во время сна.

У его трудовой энергии была какая-то особенная заразительность: все, начиная со взрослых и кончая детьми, охотнее и легче выполняли свои задачи, зная, что в соседней комнате работает Соловьев. И как весело бывало, когда сходились после этого с ним за завтраком или за ужином! Сознание, что он успел много сделать за несколько часов, разжигало в нем шутливость и добродушный юмор: он сыпал экспромтами, вспоминал смешные эпизоды из своей жизни и переходил к неудержимому хохоту.

Комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты, а когда собирался в гости, то смачивал руки скипидаром пополам с одеколоном и называл это шутя «Bouquet Solovieff» [39].

Я глубоко убежден в том, что он подкосил свой организм, с одной стороны, неимоверным трудом и значительными периодами поста, а кроме того, постепенно отравлялся скипидаром, разрушительно действующим на почки. Один из близких друзей покойного, В. Д. Кузьмин-Караваев, недавно высказал ту же мысль о скипидарном отравлении в воспоминаниях своих о Соловьеве.

Неоднократно старались друзья предостерегать его относительно опасности злоупотребления скипидаром, но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе.

Вспоминается мне по этому поводу один случай. Покойный Владимир Сергеевич любил иногда после усиленной работы прочесть перед сном несколько страниц из хорошей книги, не имевшей прямого отношения к его занятиям. Из таких книг в моей библиотеке он облюбовал поэтично написанный труд проф. Д. Н. Кайгородова[40] о птицах. Он высоко ценил произведения этого автора, находя, что он «не только видит, но и умеет показывать другим Бога в природе». И вот однажды, простившись со мною перед сном, входит Владимир Серегеевич ощупью в мою спальню и, окликнув меня, просит зажечь свечу. Испугавшись на минуту, я немедленно успокаиваюсь, видя удовольствие, написанное на его лице. Показывая мне книгу, Владимир Сергеевич весь сияет:

— Как я рад! Нашел у милого Кайгородова легенду о клесте с кривым клювом, слышанную мною еше в ранней юности.

По преданию, клесты, видя распятого Господа, пытались вырвать гвозди из креста, но не могли этого сделать, а только искривили себе клюв. За эту самоотверженную попытку Спаситель назначил им жить в хвойных лесах, вскрывать кривым клювом шишки и питаться смолистыми зернышками; от этой здоровой пищи дано им не знать тления после смерти.

Хвалу этой легенде и нашедшему ее профессору Владимир Сергеевич заключил апологией скипидара, как вещества, выделываемого из смолистых материалов.

— И разве не лестно быть клестом? А?

— Нечего сказать! С кривым клювом! Нос в одну сторону, а нижняя губа в другую! И питаться еловыми шишками!

Владимир Сергеевич захохотал и ушел к себе, но спать не лег, и я с полчаса еще слышал, как он расхаживал в туфлях по комнате и мурлыкал что-то жизнерадостное.

Питался он, когда был предоставлен самому себе, немногим лучше клеста: кислая капуста, сельдерей, чай, немножко икры да изредка рыба, когда организм или хозяева настаивали, чтоб он подкрепил себя. Любил он вино и фрукты; не прочь был иногда выпить в дружеской компании настолько, чтобы достигнуть некоторого нервного подъема, когда человек становится разговорчивее и легче припоминает все смешное. За 10 лет близкого знакомства с ним я не упомню случая, чтоб он в этом отношении зашел дальше указанного предела. Поэтому меня, как и вообще

многих друзей покойного, сильно покоробили появившиеся в одном близком Соловьеву журнале странные намеки на то, что он порою был склонен даже чуть ли не к кутежам. Вину он придавал мистическое значение и, кроме того, ценил его как источник редких минут добродушного веселья среди долгого воздержания и упорной работы.

Гощение Соловьева у друзей, всегда повышавшее духовный уровень семьи, в которой он поселялся, зачастую сопровождалось вместе с тем и эпизодами, не лишенными комизма. Приехав ко мне однажды раннею осенью на несколько дней, он прожил до глубокой зимы и приводил меня буквально в отчаяние, выходя на улицу в легкой крылатке и мягкой летней шляпе. Насилу уговорил я его брать в нужных случаях мою шубу, пока не получится зимнее пальто, выписанное телеграммой от родных из Москвы. Легкую шляпу он носил, пока не схватил ужасного гриппа. Только тогда призадумался он над вопросом о теплой шапке. Самому выходить не хотелось, так как он работал день и ночь, а меня или моих присных он избегал беспокоить.

И вот однажды рано утром он призывает посыльного, ниточкой снимает мерку со своей головы, дает пять рублей и велит купить шапку, все равно какую. Посыльный приносит невообразимую мерзость — какой-то плисовый колпак. Я негодую, а Владимир Сергеевич обрызгивает новую покупку традиционным скипидаром «для дезинфекции» и говорит мне по-английски: «Пожалуйста, не осуждай шапки! Этот человек может обидеться».

Владимир Сергеевич гостил обыкновенно дольше, чем было раньше намечено, но и уезжал иногда внезапно, без побудительной внешней причины, просто «чтобы не разбаловаться», как он выразился однажды.

В деньгах он нуждался постоянно, частью в силу своей безграничной щедрости и желания «пещись о мнозех», частью же потому, что высокой нравственной оценке его творений далеко не соответствовала материальная: за вздохновенные, серьезные труды свои, которым даже не сразу дано достигнуть широкого влияния, предстоящего им в течение многих лет, он получал неизмеримо меньше, чем любой хлесткий фельетонист за преходящую чепуху. Недаром он так истерически хохотал однажды, услыхав от покойного Лескова простой афоризм: «Издатель всегда... издатель».

У него не было ни умения, ни желания хорошо устраивать свои дела. Беззаботность Владимира Сергеевича и его заброшенность в материальном отношении происходили в итоге не от

внешних причин. Его нежно любили и родные, и друзья, среди которых были люди весьма влиятельные в разных сферах. Он всегда бы мог создать себе, при этих условиях и при своем громадном даровании, удобное и прочное материальное положение и, во всяком случае, избежать переутомления срочной работой и разных лишений. Не были эти лишения и результатом какого-либо изъяна воли. Напротив, воля-то была гигантски сильна. Я редко видел человека, который бы так повелевал своему организму и даже своим мыслям.

Нет, тут была причина другая, которую можно было выяснить по отдельным намекам и с виду незначительным фактам лишь при условии долгого знакомства. Владимир Сергеевич любил и людей, и жизнь, с особой напряженностью испытывал радости ее, но намеренно *устранялся от всяких земных уз*, намеренно ставил пределы собственному сердцу, даже в проявлениях любви к родным и друзьям. Он *избегал подчинения привычке* решительно во всем, даже в аскетизме, этой отличительной черте его жизни. Аскет по призванию и убеждению, он *боялся*, если можно так выразиться, *машинального аскетизма* и порою нарочно прерывал созерцательное настроение невинным весельем, как светлый метеор влетая в кружок друзей, чтобы снова исчезнуть, иногда надолго.

Оттого жизнь Владимира Сергеевича — хотя и глубоко объединенная главной идеей, которой он служил, и главным чувством, преобладавшим в его сердце, — представляла собою картину сложную, производившую иногда впечатление *пестроты* и даже раздвоенности.

Резкие противоречия в выражениях лица и внешних приемах приводили иногда в недоумение людей поверхностных или видевших Соловьева только мельком. Так, он мог иногда просидеть целый вечер, не проронив ни слова, если в комнате находился человек, в котором он чуял чуждый ему «дух»; по уходе этого человека, которого он видел, может быть, в первый и последний раз, Владимир Сергеевич становился неузнаваем: оживлялся и щедро сыпал остроты. Он омрачался иногда и в кругу близких лиц под влиянием физической или нравственной усталости, а также если ему казалось (и почти всегда безошибочно), что кем-либо из его друзей овладело «буржуазное настроение».

В резких переходах от веселости к мрачному безмолвию и наоборот, как и во всем духовном складе Владимира Сергеевича, было, если можно так выразиться, нечто *медиумическое*: точно не все его слова и действия были вполне произвольны,

точно какие-то невидимые силы вселялись в тайники его духа, чередуя черные тучи с ясною лазурью.

Врачи объясняют такие явления причинами психофизиологическими. Кто близко всматривался в Соловьева, для того подобное объяснение явно недостаточно. Почивший мыслитель не только глубоко мистически веровал в Бога и считал загробный мир столь же реальным, как и внешний, но у него было несомненно и особенное, непосредственное, живое и реальное отношение к этому миру, другим невидимому. Он *видел* дьявола и пререкался с ним; он *ощущал* близость Бога.

Я замечал, что мрачное настроение всегда угнетало его или после каких-нибудь странных и неприятных «вестей» из неведомого мира, или перед таковыми; настроения же светлые или порывы веселья также всегда совпадали с причиною неведомою, которую он лично считал воздействием извне. У меня хранится воспроизводимый здесь весьма интересный, сделанный И. Е. Репиным в несколько минут, набросок карандашом, изображающий Владимира Соловьева именно таким, каким он бывал под гнетом неведомой мрачной силы. Знаменитый художник необычайно удачно и сильно отметил отпечаток этого и в позе, и в выражении лица. По всему видно, что с мыслителем происходило что-то не шуточное, выходящее за пределы обыкновенного нездоровья или печального раздумья...

Публицисты и читатели немало посмеялись года три тому назад над одним стихотворением, в котором Владимир Соловьев читает мораль «морским чертям» [41]. Людям, заключенным в круг преимущественно будничных понятий, предоставляется, конечно, признавать или отрицать существование каких бы то ни было чертей; но при ограниченности наших познавательных средств и *утверждение*, и *отрицание одинаково бездоказательно*. Близкое знакомство с Соловьевым могло дать скорее некоторый *материал для утверждения*; один пример этого сильного мистика, столь наглядно богатого вместе с тем и здравым смыслом, сперва ставил человека в тупик, а потом производил на него некоторое внушение.

Однажды мы с Владимиром Сергеевичем и известным экономистом г. Субботиным [42] пришли к покойному Н. С. Лескову, тогда только что познакомившемуся с Соловьевым. Владимир Сергеевич был мрачен, и разговор на общие темы как-то не клеился. Лесков стал припоминать разных общих знакомых и, между прочим, сказал об одном из них:

— Представьте, он даже верит в существование бесов, ха-ха-ха!

Владимир Соловьев вздрогул, глаза его странно загорелись, и он прерывисто произнес:

— Да какой же человек, внимательно всматривающийся в жизнь, может не верить в существование бесов?!

Это было сказано тоном такого убеждения, что перед нами как будто приподнялась завеса чего-то невидимого и страшного. Лесков машинально произнес:

— Ну, конечно! Еще бы!..

Припоминая впоследствии этот факт, Лесков говорил мне, что совершенно искренно согласился в ту минуту с Владимиром Соловьевым.

Весьма знаменательно и ценно, что автор одной из серьезнейших статей о почившем мыслителе, г. А. Введенский («Призыв к самоуглублению»), находит и метафизическое объяснение упомянутому мистическому стихотворению Соловьева [43], которое одни относили к области галлюцинаций, граничащих с умственным расстройством, а другие считали насмешкою над читающею буржуазною публикою.

Владимир Соловьев знал и заклинания против бесов. Вот одно из них, которое в силу обстоятельств, не относящихся к биографии почившего мыслителя, мне пришлось твердо запомнить: «*Заклинаю вас именем Иисуса, Сына Бога Живого, перед Которым преклоняются все колена на небесах, на земле и под землею*». Для успокоения гг. врачей и сторонников натурализма, которых, быть может, раздражит кое-что из вышеизложенного, следует, однако, отметить, что мистические явления стали чаще посещать Владимира Соловьева и действовать на него сильнее именно с тех пор, как его здоровье заметно пошатнулось. Смежность этих двух фактов хотя и не служит неоспоримым аргументом в пользу естественного объяснения «сверхъестественных явлений», но все-таки открывает этому объяснению некоторый простор. Истина же во всей полноте и неопровержимости откроется нам, конечно, лишь тогда, когда некому будет рассказывать о ней...

Религиозность Владимира Соловьева была трогательна, заразительна и вместе очень своеобразна. В ней пламенность сочеталась с какою-то особенною застенчивостью. Садясь за обед или за работу, он крестился истово, с нервною торопливостью; из молитв он особенно действительною считал молитву мысленную. В большие праздники он избегал пышных городских храмов и уезжал куда-нибудь подальше, чтобы помолиться либо в маленькой приходской церкви, либо где-нибудь в лесной глуши.

Приблизительно за месяц до смерти, во второй половине июня 1900 года, сидя вечером у меня, он вдруг отвел меня в сторону и

высказал, что в последнее время он охвачен особенно напряженным религиозным настроением; что ему хотелось бы при этом помолиться не в одиночестве, а присутствовать с другими людьми на богослужении. Я ему ответил, конечно, что надо радоваться этому приливу высокого чувства — и пойти в церковь. Ответ его мне показался странным в ту минуту:

— Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками — да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, *кто* надвигается? Я вижу, давно вижу!

Голос у него дрожал, в глазах была видна глубокая скорбь, исхудалое лицо и руки в черных перчатках (он тогда не совсем еще вылечился от нервной экземы) — все это поизводило тяжкое впечатление. Я тогда приписал болезни его последние слова. Потом я вспомнил, что слышал их далеко не в первый раз, и слышал в такие минуты, когда не могло быть речи ни о малейшем нездоровье, ни о каком бы то ни было нервном подъеме.

Еще лет восемь тому назад он говорил о предстоящем пришествии *антихриста* — сперва коллективного, а затем воплощенного в отдельном лице — с тем чисто научным спокойствием, с каким геолог говорил бы о смене формаций или метеоролог о неизбежных климатических переменах. Он об этом не только говорил, но и писал, причем сперва у него проскальзывали указания на факты, которых он открыто не называл еще антихристовыми; затем он употреблял это слово как нарицательное для группы характерных явлений и наконец написал в известных «Трех разговорах» прямо уже «Повесть об антихристе». Любопытно, что он однажды, прочитав приятелю в рукописи эту повесть, спросил его внезапно:

— А как вы думаете, что будет мне за это?

— От кого?

— Да от заинтересованного лица! *От самого*!

— Ну, это еще не так скоро!

— Скорее, чем вы думаете!

Приятель Соловьева, В. П. Протейкинский, рассказавший мне это, и сам тоже немного мистик, — подобно всем верующим людям, — добавил потом не без волнения:

— А заметьте, однако: через несколько месяцев после этого вопроса нашего Владимира Сергеевича не стало! Точно кто вышиб этого крестоносца из седла!..

Для характеристики почившего мыслителя вопрос о конце мира представляет особый интерес. Уже несколько лет тому назад он высказывал мне глубокое убеждение в том, что последние времена близки. Главным признаком этого он считал современный фазис философской мысли, которой будто бы мудрено сказать что-либо действительно новое. В остальном — в головокружительном техническом прогрессе наряду с успехами анархии и буржуазным очерствением человечества — он усматривал признаки, предсказанные Апокалипсисом.

Ему возражали, что Евангелие еще не принято всеми народами, а потому человечество, очевидно, не созрело для конца времен. Он отвечал, что условием этого последнего, согласно Писанию, будет не принятие, а лишь *проповедание* Евангелия всем народам, — а это, мол, уже почти завершено, так как нет неизведанных уголков земного шара, где бы не побывали миссионеры. От одного известного геолога и почвоведа я слышал однажды и передал Владимиру Соловьеву возражение, что с точки зрения геологической земля, мол, «не готова» для предсказанной Писанием катастрофы. Почивший мыслитель расхохотался:

— Мы не рабы, а господа земли. Что годится для эволюциониста, то мне кажется пустяками. Представь себе, что четверо почтенных людей играют в винт, а в это время начинается пожар в квартире; неужели они скажут: «Не время, рано еще, мы не кончили последней партии!» Для решения вопроса о кончине мира степень «зрелости» земной коры имеет не больше значения, чем партия винта.

Владимир Сергеевич признавал мечты о всеобщем прогрессе и т. д. небесполезными с точки зрения подъема человеческой энергии, но сам-то считал это вздором, противоречащим христианскому учению, которое находит, что мир «лежит во зле». Разговорившись однажды со своим приятелем, профессором А. А. Цагарели, о поэзии Леопарди[44], Вл. С. высказал это вполне определенно. Г-н Цагарели выразил удивление по поводу того, что Леопарди, сын такой лучезарной и жизнерадостной страны, предается крайнему пессимизму; Владимир Соловьев отвечал:

— Вы забываете христианство! Оно ведь глубочайший источник пессимистического взгляда на земные явления!

Мысль о близости всеобщего конца с каждым годом все более охватывала почившего мыслителя, и высказывал он ее все бо-

лее резко и нервно. Этого нельзя не поставить в связь с постепенным упадком его здоровья и с теми душевными страданиями, которые все росли, оставляя наглядный отпечаток даже на его внешности.

Для человека, любящего всматриваться в лица людей, особенно замечательных, весьма интересно проследить в хронологическом порядке перемены выражения на портретах Владимира Соловьева. Перед глазами наблюдателя развертывается такая *драма*, какой мне не приходилось угадывать ни в одной из виденных мною серий писательских портретов.

Возьмем хотя бы изображения гр. Л. Н. Толстого: облик юного офицера дышит смелостью и энергией, которые мы встречаем и у старика в блузе; последние портреты даже, пожалуй, сильнее и ярче первых и, во всяком случае, выразительнее того, на котором граф изображен в обыкновенном сюртуке; на некоторых из последних портретов видно неудовольствие, пожалуй даже сарказм, но нет и тени того страдания, которое можно прочесть на последних двух-трех портретах Владимира Соловьева.

На юношеской карточке Владимир Сергеевич суров, смел и полон веры в возможность дать много хорошего и положительного обществу. То же видно на портретах, относящихся ко всему первому периоду учено-литературной деятельности Соловьева, невзирая на значительное внешнее их разнообразие; исключение составляет лишь фотографический снимок, относящийся ко времени его поездки в Египет: там виден жизнерадостный и полнощекий юноша-иллюминат, очарованный широко зачерпнутыми чудесами мистического знания и светло смотрящий в будущее. На фотографическом портрете работы Чеснокова, относящемся к 90-м годам, почивший мыслитель глядит со спокойным сознанием, что пройден путь немалый, сделано много, но можно сделать еще больше. В средине тех же годов известный художник Ярошенко написал портрет Владимира Сергеевича, которого изобразил уже усталым, с глубокою грустью в глазах.

Истинно трагическое впечатление производят последние портреты работы московского фотографа Асикритова. Человеку, знавшему Владимира Сергеевича, прямо тяжело глядеть на них: столько отразилось там безысходной скорби, столько сомнения в людях и даже в самом себе! Это именно изображение искреннего автора «Повести об антихристе», дошедшего до этой повести тернистым путем. Он словно говорит: «Скоро конец! И я это *чувствую*, потому что я ничего не пожалел для торжества своего главного дела, религиозной проповеди, — но по всему видно,

что я пришел поздно! Не быть весне обновления! Надвигается зима!»

И в самом деле, Владимир Соловьев больше, чем кто-либо другой, был бы вправе повторить слова французского поэта:

Je suis venu trop tard, dans un siècle trop vieux [45].

Не только по миросозерцанию, но и по духовному складу, и по темпераменту он более подходил, смотря по овладевшим им настроениям, то к первым векам христианства, то к временам крестовых походов. Несомненно, что если бы он появился не позже средних веков, то его имя сразу просияло бы ярче, его дело встретило бы больший отклик. В конце он удостоился бы или костра, или канонизации, смотря по обстоятельствам. Придя же в эпоху малой веры и вообще духовного измельчания, он встретил столько непонимания, что должен был страдать невыносимо.

В начале нашего знакомства возник у нас спор о вопросах внутренней политики и об отражении разных перемен на духовной жизни общества. Он усматривал в 80-х годах шаг назад, быть может необходимый, но не радостный. Я доказывал ему, что во многих областях духа, и притом в самых высших, заметен, напротив, *шаг вперед*; в виде иллюстрации я добавил, что если бы продолжался режим 60-х годов и преобладали интересы того времени, преимущественно политические и материалистические вообще, то нравственно-религиозная проповедь того же Владимира Соловьева не вызвала бы к себе ни малейшего интереса, так как все были бы заняты совершенно другим. Задумавшись на минуту, он согласился, что это так. Он вполне ясно сознавал, что *времена раскаяния плодотворнее для высших проявлений человеческого духа, нежели самый пышный расцвет политической жизни.*

Но и при всем том Соловьев пришел *не в свое время*: либо слишком рано, либо слишком поздно! Он думал, что последнее вернее, и, вероятно, был прав! Как мистик и символист в широком смысле этого слова, он «видел» не только сумму нарастающих явлений, враждебных его делу, но и разные отдельные воплощения своего врага. Он неоднократно говорил мне, что видел во сне *арлекина*, выскакивающего из самых разнообразных и непредвиденных мест. Идея арлекинады и всяческих вообще превращений преследовала его как кошмар и причиняла ему серьезную нравственную боль. Особенно ясно выразилась она у него в целом ряде шуточных произведений, о которых будет сказано ниже.

В почившем философе уживались рядом и порою прерывали друг друга *два совершенно противоположных строя мысли*, на первый взгляд как будто несовместимых. Первый можно сравнить с вдохновенным пением священных гимнов, воспаряющих к небу. Второй — с ехидным смехом, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым. Как это ни странно, но у пламенно верующего Владимира Соловьева бывали шуточные стихотворения на библейские темы, правда ветхозаветные, как, например, о «Ионе во чреве кита», и на такие духовные явления, о которых большую часть своей жизни он умел говорить серьезно и горячо. Иногда оба мотива сливаются, как, например, в упомянутом стихотворении о морских чертях и в некоторых других произведениях, которые не попали в его сборник как «несерьезные».

Он вообще был склонен к смеху и к сатире, как это можно заметить даже по его статьям полемического характера. Особенно же разжигали в нем это чувство всякого рода *превращения и подделки*. Весьма забавно его стихотворение о графине фон Крани и пономаре. Граф Адальберт фон Крани, уехавший надолго из дому, пожелал узнать, насколько верна ему графиня, и, вернувшись домой, переоделся пономарем; графиня возьми да и влюбись в этого последнего! В минуту робкого ее признания граф открывает инкогнито и происходит супружеская сцена, после которой графиню сажают в семейном отношении, так сказать, на хлеб и на воду. А вот написанное тем же размером стихотворение, принадлежащее другому лицу (одному из московских друзей Соловьева), но проредактированное Владимиром Сергеевичем и читанное им во многих дружеских домах:

Пан Зноско

Пан Зноско стар; ему давно минуло
Сто сорок шесть.
Но юных сил прилив в него вдохнула
Святая месть.

Пылал мятеж, и, бурная, как пламя,
Пылала речь.
И поднял он дрожащими руками
Свой ржавый меч.

Потом, в Сибири ссылку испытавши,
Из дальних мест
Вернулся он на родину: попавши
Под манифест.

Но пребывать отшельником навеки
Он дал обет.
И заперся в своей библиотеке...
С тех пор обед

Ему в окошко подает кухарка,
Закрыв лицо;
Его обед — одна лишь водки чарка,
Одно яйцо.

Но он уж стар, но он богат несметно...
В его приют
Прокралися злодеи незаметно, —
Его убьют!

Тут бодрость вдруг проснулася в калеке,
Он им в ответ:
«Я поджидаю вас в своей библиотеке
Уж двадцать лет!

Не удался ваш замысел крамольный!
Долой парик!
Вы думали, что здесь сидит рамольный
Седой старик?

Ошиблись вы в своем предположеньи,
Мои друзья!
Вы пойманы на месте преступленья:
Исправник я!

А Зноско — тот из ссылки без усилья
Бежал! С тех пор
Узнали мы, что он уже в Севилье
Тореадор!

Мы на него бессильно негодуем, —
Его все нет!
Но и порок бывает наказуем —
Раз в двадцать лет!

Я двадцать лет вас ждал в библиотеке,
Закрывши дверь.
За это вас, друзья, в Сибирь навеки
Сошлют теперь.

А ссыльных там уж берегут построже,
Чем в оны дни...

и т. д.

С особенною ненавистью относился Владимир Сергеевич ко всякому нарушению *второй заповеди* и преследовал языческий элемент, примешивавшийся к высшим духовным понятиям или даже скрывавшийся под их оболочкой. Он говорил, что человек

всегда должен всматриваться в себя и очищать себя прежде всего от чувствований идолопоклоннических, естественно присущих земнородным. Даже излишне деспотический авторитет тех или иных научных и литературных имен, когда он заменял собою аргументацию и действовал гипнотически на молодые умы, постоянно возмущал почившего философа. Под влиянием впечатлений именно последнего рода он прислал мне зимою 1894 года с Иматры «восточную басню», прося, однако, *не искать в ней никаких аллегорий и намеков*.

Вот она:

Эфиопы и бревно

В стране, где близ ворот потерянного рая
Лес девственный растет,
Где пестрый леопард, зрачками глаз сверкая,
Своей добычи ждет,

Гле водится боа, где крокодил опасен
Среди широких рек,
Где дерево, и зверь, и всякий гад прекрасен,
Но гадок челорвек, —

Ну, словом, где-то там, меж юга и востока,
Теперь или давно —
На улицу села с небес по воле рока
Упало вдруг бревно...

Бревно то самое, что возле Мамадыша
Крестьянин Вахрамей
В пути от кабака, не видя и не слыша,
С телеги стряс своей.

Лежит себе бревно. Народ собрался кучей,
Дивится эфиоп, —
И в страхе от беды грозящей, неминучей
Трясет уж их озноб!

Бревно меж тем лежит. Вот, в трепете великом,
Ничком к нему ползут!
Бревно лежит бревном. И вот, в восторге диком,
Уж гимн ему поют!

«Могучий, кроткий бог! Возлюбленный, желанный!»
Жрецы уж тут как тут:
Уж льют на край бревна елей благоуханный,
Коровьим... маслом трут.

И скоро весть прошла о новом, чудном боге
Окрест по всем тропам.

Богослуженья чин устрановился строгий,
Воздвигнут пышный храм.

Из Явы, из Бирмы, Боа, Джелалабада
Несут к нему дары.
Бревну такая жизнь, что помирать не надо, —
Живет до сей поры!..

Урок из басни сей для всех народов ровный.
Глуп не один дикарь:
В чести большой у нас у всех бывают бревна —
Сегодня, как и встарь.

А вот пародия на декадентов, написанная Владимиром Сергеевичем в холерный год и посвященная опять-таки вопросу о *превращениях*.

Метемпсихоза

(Сочинено во время холерных судорог)

Подсолнечник желтый
Цветет в огороде,
А сердце открыто
Любви и природе.

В холерное время —
Недавно здоровый —
Лежу без движенья,
Зелено-лиловый.

Подсолнечник желтый
Поблек в огороде.

В тревоге родные,
Печальна прислуга,
Пришли издалека
Два старые друга:

Один пьет, как губка,
Другой сумасшедший,
Но вспомнили оба
О дружбе прошедшей.

Подсолнечник желтый
Увял в огороде, —
И сердце закрылось
Любви и природе.

И в гроб положили.
Снесли на кладбище!..
Довольны ль вы, черви,
Присвоенной пищей?

Подсолнечник желтый
Погиб в огороде.

Из праха и тлена
Цветок вырастает.
К забытой могиле
Пчела прилетает...

Сидит на балконе
Прелестная дева:
Сияет красою
И справа и слева.

Подсолнечник желтый
Расцвел в огороде.

На блюдечке меду
Приносят той деве.
И вдруг я очнулся
В прелестнейшем зеве!

Но будь он стократно
Прелестен, а все же
Мое помещенье
С могилою схоже!

И мрачно, и сыро,
И скользко! — О горе!..
Но с крошечкой воска
Я выплюнут вскоре!

Подсолнечник желтый
Цветет в огороде,
О счастье, о радость!
Я вновь на свободе.

Вновь сердце открылось
Любви и природе!
Подсолнечник желтый
Цветет в огороде...

Два строя творческой мысли, часто мешавшие друг другу, приводили иногда, переплетаясь, к досадным диссонаснам, какие мы видим, например, в поэме «Три свидания»; иногда же, когда юмор и шутка смешивались с мистицизмом, то получалось нечто весьма малопонятное, как, например, комедия (?) «Белая Лилия»: отдельные монологи, например: «Мне жарко потому, что холодно тебе», — очень удачны; но общее впечатление получается странное даже для читателя, наиболее обладающего способностью ценить произведения Козьмы Пруткова. Во всяком случае, несомненно, что указанные два элемента, составлявшие

творческую и просто человеческую личность Владимира Соловьева, *слились в нем не вполне гармонично* и тем наносили друг другу некоторый ущерб. Оттого даже мистицизм Владимира Сергеевича, составлявший наиболее основную из характерных черт его, и его постоянный интерес ко всему необъясненному могли иногда показаться поверхностному наблюдателю явлениями напускными и, во всяком случае, несерьезными.

Однажды у нас с ним вышел презабавный эпизод. Во время гощения Владимира Сергеевича у меня понадобилось нам обоим поехать в реадкцию «Недели». Нанимаем извозчика на Ивановскую улицу. Спутник говорит мне по-французски, с тоном детского любопытства в голосе:

— Давай смотреть этому человеку в затылок и внушать ему, чтоб он остановился именно у подъезда редакции.

Сказано — сделано. Извозчик, ни о чем не спрашивая, подкатывает прямо к нужному нам подъезду. Соловьев взволнован чрезвычайно:

— Видишь? Видишь?!

Я и сам смущен, но меня берет сомнение, которое мы спешим выяснить вопросами о том, что чувствовал извозчик во время пути и почему он сам остановился именно где следует. Ответ простой, по моему адресу:

— Ведь я вас знаю! Подле вашего дома стоим! И который раз уже с вашим здоровьем к энтому подъезду, бывало, подъезжаю! А чтобы чувствовать — так особенных чувствий нет, окромя что дорога тяжелая! На чаек бы...

Владимир Сергеевич дал ему три рубля и расхохотался истерически.

* * *

Как смотрел Владимир Соловьев сам на себя? Ряд серьезных «дерзаний», о которых упоминалось в одной из предыдущих глав, показывает, что он глубоко верил в себя как в проповедника и не отделял себя от той идеи, которой служил. Минуты упадка этой веры были, во всяком случае, весьма редки, и он обыкновенно скрывал их. За десять лет близости с ним я помню лишь два-три беглых намека в этом роде, а после его смерти мне довелось прочесть одно неизданное его стихотворение, в котором сквозит сомнение если не в самом призвании, то в успехе многолетних трудов.

Обыкновенно же и в письмах, и в печатных произведениях тон бодрый. Прося меня, например, разыскать в его ящиках с кни-

гами и выслать ему в Москву «Историю культуры» Генриха Риккерта[46], он поясняет:

— Она мне давно не нужна — после того как послужила *для нанесения смертельного удара Н. Н. Страхову*.

Владимир Соловьев считал себя достойным прочной славы и стремился к ней прямым путем, вполне сознательно и с достоинством, исключающим самообольщение. Весьма любопытно с этой точки зрения его юмористическое письмо к покойному М. А. Кавосу, приглашавшему его в Москву, чтобы немножко покутить. Владимир Соловьев отказывается ехать туда,

Где в рубахах Ганимеды
Угощают всем, что надо,
Где сроднили уж обеды
С радикалом ретрограда.

Далее он говорит:

К Ганимедам бородатым
Ехать вовсе неохота!
Не кутить теперь — куда там!
Лишь кончалась бы работа.

Не оставивши потомка,
Я хочу в потомстве славы,
Объявляю это громко,
Чуждый гордости лукавой...[47]

«Гордости лукавой» в нем не было, а было глубокое убеждение в правоте. В статье «Враг с Востока» он напоминает читателям, что *давно уже* предсказывал русскому обществу ряд неблагоприятных явлений, порождаемых скудостью духовных интересов. *Дар предвидения* он за собою весьма признавал и чрезвычайно дорожил малейшими признаками, свидетельствовавшими о нем. Когда мы за месяц до его смерти заговорили об осложнениях на Дальнем Востоке, он вдруг оживился:

— Помнишь, помнишь? Я это предсказывал в одном из писем с Иматры, шесть лет тому назад.

Недавно, просматривая письма Владимира Сергеевича, я нашел действительно несколько строк об этом вопросе, ничем не связанных с остальным письмом и оканчивающихся предположением, что между Китаем и Японией будет заключен союз.

Особенно протестовала истинная гордость Владимира Сергеевича, когда ему прямо или косвенно давали понять в печати, что он не облечен официальными полномочиями для религиозно-философской проповеди, а потому авторитетом обладать не мо-

жет. Однажды он даже прислал мне по этому поводу следующую выдержку из статьи, которую писал:

«Я полагаю, что профессор Владиславлев в своей знаменитой "Философии о рангах" [48] подчинил все высшие задачи ума и воли принципу чинопостепенности. Я, со своей стороны, думаю, что применение этого принципа следует ограничивать областью казенной службы, не распространяя его на предметы духовные. Ибо я знаю, что не только Понтийский Пилат, несмотря на свой высокий ранг, был способен только спрашивать, а не отвечать: "Что есть истина?", но даже и Каиафа, хотя в качестве первосвященника и проглаголал истину, однако лишь такую отвлеченно-формальную, которая нисколько не помешала ему (или даже способствовала) распять Христа!»

Наряду с этим Владимир Соловьев отмечает, что не только «вольный пророк» Валаам пользовался живым вдохновением истины и находился *в личном общении с высшими силами*, но даже и ослица его, будучи, как простое животное, безусловно, неспособна к законному учительству и несению ранга, тем не менее наставила самого пророка на путь истинный; за свою кротость и смирение она удостоилась увидеть ангела Господня прежде, чем увидел его сам пророк.

Авторитетность и свободу своей проповеди Владимир Соловьев *черпал в свободе духа вообще*, считая ее необходимою для всех. Если же он, быть может, в душе и считал себя выше многих, как проповедник религиозно-нравственных идей, то в области профессионально-литературной он был чужд какого бы то ни было не только самообожания, как весьма многие, но даже столь часто встречающегося «маленького самомнения».

Скромность его, особенно в вопросах, которые он не считал специально своими, была прямо феноменальная. Написав какую-нибудь статью, он охотно показывал ее специалистам по вопросу, который она затрагивала, — и внимательно относился к полезным указаниям. Читал он свои произведения и юристам, и духовным лицам, и поэтам, и естественникам. Когда он писал для биографической библиотеки Павленкова очерк жизни и учения Мухаммеда (кстати сказать, это одно из лучших исследований на указанную тему), он внимательно проверял каждое слово при помощи авторитетной критики академика барона В. Р. Розена [49] и здешнего гражданского ахуна, почтенного муллы Баязитова [50], с которым затем был дружен до самой смерти.

Особенно любил он показывать стихи и даже на непрошенные советы не обижался. Зимою 1895 года с Иматры он пишет мне, например, следующее:

«Замечания ваши о втором куплете моего стихотвореньица совершенно справедливы; я вам за них очень признателен и непременно постараюсь ими воспользоваться» [51].

Дня через два он уже трунит над собой, посылая мне свои новинки — «Воскресшему» («Лучей блестящих полк за полком...») и «Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает...», — и музу свою называет *чухонкой*, потому что его вдохновляла финляндская природа:

«Чухонка родила двойню на расстоянии недели. Посылаю. Второе, "Лишь только тень живых", кажется мне недурно. А относительно первого («Воскресшему») имею опасения: не было ли какого-нибудь совпадения? Что-то очень знакомо звучит. Если вам то же покажется, то напишите по совести, и не поможете ли отыскать настоящего отца сего подкидыша? Он мне и так не нравится, и, вообразив себя В. П. Бурениным, я написал следующую пародию:

Нескладных виршей полк за полком
Нам шлет Владимир Соловьев
И зашибает тихомолком
Он гонорар набором слов.

Вотще! Не проживешь стихами,
Хоть, как свинья, будь плодовит!
Торгуй, несчастный, *сапогами*
И не мечтай, что ты пиит.

Нам все равно — зима иль лето, —
Но ты стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголос!

В самом деле, мне приходит в голову: философично ли я поступаю, предлагая публике свои стихотворные бусы, когда существуют у нее: алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета, аметисты и гранаты А. Толстого, мрамор Майкова, бирюза Голенищева-Кутузова и т. д.» [52].

Невзирая на это соображение, он в Финляндии написал очень много, так как этот край своими сурово-мечтательными красотами и складом жизни благотворно действовал на его душу. Мне он писал особенно часто оттуда, потому что именно я посоветовал ему уединиться близ Иматры для приведения в порядок расшатанных нервов. И теперь мне отрадно вспомнить, что удалось оказать ему за время нашей близости хоть эту услугу. Ему так понравилось в Финляндии, что он посвятил ей целый ряд прекрасных стихотворений, из которых одно («Тебя полюбил я, кра-

савица нежная...») даже подало повод к нелепой сплетне о том, что философ в кого-то влюбился...

В одном из писем он то и дело переходит к стихам «не для печати», рассказывая о себе и сообщая прежде всего, что у него весьма обильны

«Чухонской музы порожденья!
Виной всему уединенье.
Иных покуда нет грехов;
Ничто страстей не возбуждает,
И тихий рой невинных снов
Прозрачный сумрак навевает.
Живу, с заботой незнаком,
Без утомленья и усилья,
Питаюсь только молоком,
Как Педро Гомец, "лев Кастильи".

Одно беда: не у кого спросить, сносны или несносны мои стихи!

Кругом собаки, овцы, крысы,
Не вижу судей никаких!
Чухонцы, правда, белобрысы,
Но им не внятен русский стих.
Пишу. В окно глядятся ели,
Снег новый спрятал все пути...
Стихи, однако, надоели:
Пора и к прозе перейти...

Проза идет успешно по существу, но пока не так быстро, как хотелось бы: несколько дней были поглощены поэзией и природой...»

Насколько я могу вспомнить степени душевного равновесия у Владимира Соловьева в разные периоды и отдельные моменты последних десяти лет его жизни, *наиболее самим собой он был именно на зимней даче в Финляндии*. Друзья изредка навещали его там и называли полушутя эти поездки «богомольем в Рауху». Вскоре эта местность сделалась довольно популярною, отчасти благодаря самому же Соловьеву, так что для него-то условия жизни изменились к худшему. Вот что он пишет на Пасхе 1895 года:

«Христос Воскресе! Милый друг Василий Львович! я благополучно приехал, но не совсем благополучно водворился в Раухе. Она полна гостей, комната моя оказалась занятой, и мне дали другую, внизу, с ходящими над моею головою индивидуумами обоего пола и разного возраста. Некоторая компенсация всего этого — соседство семьи Ауэр, воспоминания о Неаполе и Сорренто, где я был 19 лет тому назад.

Сейчас Альм принес мне с десяток писем, — между прочим, просьбу о переводе на шведский и на французский языки моего “Принципа наказания”. Но чтобы я не возгордился, тут же письмо одного из братьев П. такого содержания: “Хотя вы, в сущности, *сапог*, но так как вы все-таки стали несколько известны после вашей рецензии о русских символистах, то мы просим вас написать нам рекламу”»... [53]

Сообщая об этом без малейшего неудовольствия, Владимир Сергеевич кротко спрашивает:

«Как посоветуете: написать или нет?»

А вот письмо оттуда же, в котором он ограждает свое авторское самолюбие, по-видимому подвергавшееся иногда кое-каким посягательствам. Съездив на праздниках на Иматру, я передал нашему философу приглашение В. П. Гайдебурова сотрудничать в «Книжках “Недели”». Владимир Сергеевич с удовольствием согласился, а потом, под влиянием таких комплиментов, какими угощали его братья П., написал следующие мнительные строки:

«Во избежание всякой возможности каких-нибудь недоразумений я должен объяснить следующее: имея всегда для своих статей два журнала — “Вестник Европы” и “Вопросы философии” и в резерве третий — “Русскую мысль” (у которой я к тому же в маленьком долгу), мне нет никакого резона искать еще органа. Я и не искал, как вам известно. Я согласился только на переданную вами просьбу редакции (так я это понял). Не заставила ли вас дружба ко мне невольно преувеличить желание г. Г. иметь меня своим сотрудником? Итак, я дам статью лишь в том случае, если вы можете решительно поручиться, что она будет напечатана. Полагаю, вы не считаете меня способным дать статью нецензурную или неудобочитаемую?» [54]

Дальнейшее показывает, что мнительность была совершенно напрасна. Владимир Сергеевич скоро сблизился с редакцией «Недели» и до самой смерти не прерывал самых близких с ней отношений. Нужно отметить здесь черту истинного литератора: стихотворения и статьи он любил показывать тем, кому верил, — в том числе и членам тех редакций, где сотрудничал; замечания и советы обдумывал и часто исполнял, но когда он приносил что-нибудь для напечатания, то не желал, чтобы редакции считали его способным предлагать вещь недостаточно обработанную. Стало быть, ему нужна была не столько хвала, сколько уверенность ближних в его профессиональной добросовестности — черта, все более редкая в наши дни.

Впрочем, Владимир Соловьев как писатель вообще, и особенно как поэт, весьма чуток был к сочувствию, по крайней мере

ближайшей среды, и нуждался в нем. В связи с этим надобно отметить, что его поэтическая деятельность то ослабевала, то усиливалась, в зависимости от общества, в котором он больше вращался в то или иное время. Больше всего и вдохновеннее всего писал он в Пустыньке (близ станции Саблино, Ник. ж. д.), в имении гр. Алексея Толстого, перешедшем по наследству к семейству Хитрово. Этот дом много лет уже отличался большою «литературностью» — и Владимир Соловьев писал там много и охотно, подобно тому как музыкант готов играть сколько угодно для истинных ценителей. Весьма плодотворным в поэтическом отношении было для него лето 1893 года, проведенное им под Москвою, близ станции Сходни. Оттуда он ходил чуть не каждый день в село Знаменское, имение Мартыновых, с которыми давно сблизился на почве общности литературных вкусов. Стихотворения, написанные им под влиянием этой благоприятной атмосферы, составляют целую тетрадь, богатую и нежной лирикой, и тонким юмором. Вдохновляла его и Воробьевка, деревня покойного Фета, с которым он был очень близок; но там он не дерзал писать слишком много, потому что поэтическая величина хозяина смущала его и, по выражению Владимира Сергеевича, «конкурировать с таким капиталистом было страшно».

Сознавая технические изъяны своего поэтического творчества, Владимир Соловьев был необыкновенно чуток к красотам чужих произведений; он был буквально *благодарен* за каждую хорошую, самобытную строку. Читать стихи и говорить о поэзии было для него величайшею радостью. Однажды он заехал ко мне вечером на несколько минут, собираясь отправиться затем на вечер к своему другу графу Волькенштейну (бывшему австрийскому послу). Прощаясь, мы заспорили о Тютчеве, несравненные красоты которого были мне тогда еще не вполне ясны. Соловьев разгорячился, бросился к моему книжному шкафу, достал томик Тютчева — и засиделся до четырех часов утра. В другой подобный вечер я в свою очередь «объяснил» ему поэтические перлы самобытной музы К. К. Случевского: он затем так сочувствовал творениям этого собрата, что посвящал ему стихи, гостил у него на даче и сблизился с ним.

Весьма любопытно, что человек, столь чуткий ко всему художественному, как Владимир Соловьев, был довольно равнодушен к искусству, стоящему почти на границе сверхчувственного, т. е. к музыке. Серьезной музыки он почти не выносил, а любил лишь народные песни да незамысловатые цыганские романсы. Как-то в Москве, в гостиной одного известного писателя, общество разделилось на кружки: «старшие» говорили о серьезных предме-

тах, а молодежь собралась с балалайками вокруг рояля и занималась легкою музыкой. Владимир Сергеевич, слабо поддерживая разговор серьезных людей, то и дело поглядывал в сторону молодежи. Хозяин дома спросил его не без улыбки:

— Неужели вам это нравится?

— Отчего же? По крайней мере, без претензий! Поют как птицы!..

Помню случай, когда Владимир Сергеевич серьезно увлекся одним напевом и затвердил его наизусть. Он встретил у меня за обедом молодого грузинского композитора и собирателя народных песен М. А. Баланчивадзе, только что вернувшегося тогда из сванетских гор и привезшего много старинных напевов, глубоко интересных в отношении музыки и текста. От них веяло полуязыческим, восторженным и наивным мистицизмом. Владимир Сергеевич пришел в особенное восхищение от гимна «Лилэ», посвященного Архангелу:

Слава тебе, возвеличенный!
Слава тебе, Архангел!
Два быка на двух горах стоят;
Переплелись их рога золотые
И к тебе обращены.
Тебе мы приносим их в жертву,
Преславный! Лилэ! О Лилэ!..

Напев торжественный, со своеобразною гармонизацией, порывистыми аккордами, интересными переходами из тона в тон. Владимир Сергеевич заставил несколько раз повторить его, записал сванетские слова; потом, бывало, едва заговорим с ним о прекрасной Грузии, к которой он издали чувствовал стихийную симпатию, Владимир Соловьев встает, принимает торжественную позу и, подняв руку, напевает неведомые ему слова:

Исквами! Дидеби!
Бингоя! Шинеда!
Лилэ! О Лилэ!..

Любопытно, что Владимир Соловьев за всю жизнь побывал всего раза четыре в театре, и то по просьбе друзей-драматургов на представлении их пьес. Шекспира он очень любил, но предпочитал читать его, а не слушать со сцены, говоря в шутку, что «так воображение действует гораздо удачнее». Но когда он попадал в театр, то веселился, как мальчик, и обращал на себя всеобщее внимание заразительным, икающим смехом.

Во всей духовной красе своей проявилась личность Владимира Сергеевича в дружбе. Один «воспоминатель», лично почти не знавший покойного Соловьева, печатно высказал, однако, о нем,

что это была душа одинокая, в которой темно и холодно. Ничего более неверного нельзя было придумать о почившем мыслителе. Он именно отличался необычайною сердечною щедростью, и наиболее напряженною духовною потребностью его, после дела религии, была именно дружба. Сквозь всю его жизнь проходят нити, и с каждым сколько-нибудь серьезным явлением у него было связано нежное чувство к тому или другому человеку. Одна уже дружба с К. Н. Леонтьевым или с Достоевским показывает, что Владимир Соловьев был создан не для банальных отношений, которыми такие крупные люди не удовольствовались бы. Но как он сам был деликатен и беспристрастен к друзьям, уважая их искренние взгляды и ни в чем не посягая на их независимость, так и от других требовал того же для себя. До таких пределов близости, когда начинается эгоистичная бесцеремонность, он и сам не доходил и другим неохотно разрешал доходить. Нелегко дружился, но и нелегко разрывал эти узы. Хотя бы весь мир стал осуждать одного из тех людей, которым он верил, — Владимир Соловьев оставался непоколебим в своих чувствах. Например, один из близких друзей его юности в течение многих лет делал ему всевозможные пакости, а почивший философ долго не верил, чтоб это было возможно, и даже продолжал оказывать услуги этому двуличному человеку, который сгорал завистью к нему.

Не заботясь о собственном благополучии, он принимал к сердцу каждую мелочь, касавшуюся его близких, и часто спешил содействовать подъему их духа, даже когда в том не было прямой надобности. Например, увидев в одном журнале несправедливую статью о книге своего друга, он побоялся, чтобы тот не опечалился, и торопится написать ему письмо о посторонних и ненужных вопросах, чтобы только иметь повод сказать в конце, как будто мимоходом, нижеследующее:

«Прочел вчера “рецензию” N. N. Явно злобный, шипящий тон, причины которого не видны читателю, отнимает, мне кажется, всякое значение у этой выходки».

Тому же другу, только предполагая, что он раздражен полемикой с одним литературным хищником, посягнувшим на его авторскую собственность, Владимир Соловьев пишет:

«При многих высоких качествах, из коих высокий рост есть низшее, вы имеете один важный недостаток: совершенное неумение целесообразно пользоваться прекрасным русским выражением “наплевать”».

У меня хранится драгоценное письмо, начинающееся стихотворным обращением «Экронский бог, дражайший Вельзевул!» Затем следует объяснение: Вельзевул (Баал-Зебуб) значит в бук-

вальном переводе «господин мух»; этот крылатый бог пользовался специальным культом в городе Экроне. Указанным прозвищем Владимир Соловьев намекал на мою распрю с бывшим начальником труппы Александринского театра г. Крыловым по поводу его «переделочных» прав на мою пьесу «Первая муха».

В невинных остротах насчет друзей Владимир Соловьев был неисчерпаем. Например, по поводу того, что у покойного московского профессора-философа Н. Я. Грота было семеро детей, весьма на него похожих, Владимир Сергеевич высказывал, что это «воистину *семь я*». Встречая где-нибудь своего друга, профессора Э. Л. Радлова, Владимир Соловьев говаривал, что «рад лову», и т. д.

Иногда соревнование друзей по отношению к нему ставило его в неловкое положение, и он «просил о пощаде» того, которого считал более благоразумным. Так, например, собираясь приехать в Петербург и остановиться у одного друга, он пишет другому: «Пожалуйста, не обижайтесь и не сокрушайте меня дилеммой, которого из двух друзей обидеть?!!!»

Он бывал для друзей истинным очагом тепла и света, истинным духовным отцом в серьезные минуты жизни. Еще на днях один из собратьев моих по перу, видавший всякие виды на писательском веку, сказал о нем:

— Как без него темно и печально на свете! Сколько в этом человеке было «духовного озону»!..

А при этом он никогда не ставил себя выше друзей, имевших гораздо меньше этого «озону», и частенько готов был сам смеяться над собой и дозволял это другим. Однажды он вздумал читать нравоучение близкому приятелю:

— У тебя, милый друг, удивительная смесь любви к отвлеченному с жаждою практической деятельности.

Приятель за словом в карман не полез:

— Да. Но я знаю человека, у которого этой черты совершенно нет!..

Владимир Сергеевич громко расхохотался: он сознавал, что сам гораздо более отличался тем, в чем обвинял своего друга...

Умение ценить и лично любить людей, невзирая на значительную рознь во взглядах, было отличительной чертой Владимира Соловьева. Например, он довольно резко расходился во многом с покойным М. И. Кояловичем [55], известным воинствующим славянофилом, а между тем до конца его дней сохранил к нему искреннее уважение и часто ездил к нему вести дружеские споры.

Собственной нравственной неправоты боялся Владимир Соловьев пуще всего: сознав ее, он всегда страдал и спешил загладить вину. За несколько месяцев до смерти произошел с ним следующий эпизод. Заспорив по вопросу принципиальному с одним собратом, которого он искренно любил и уважал, Владимир Соловьев поддался охватившему его нервному настроению, раскричался и ушел. Захожу к нему случайно на следующий день. Владимир Сергеевич выходит ко мне из спальни с мылом в руках, мрачно здоровается и говорит: «Знаешь ли...» — но потом опять скрывается в спальне, не докончив начатой фразы. Снова выходит — опять не решается сказать того, что его мучит, а только сообщает, что он чувствует себя «ужасно, ужасно», а сам краснеет, как школьник. Я смущен и немножко напуган, Владимир Соловьев опять уходит в спальню, и я слышу, как он там плескается, моет лицо. Через минуту выходит ко мне, усиленно вытирает лицо полотенцем, словно из желания скрыть краску стыда, и, стараясь не глядеть мне в глаза, рассказывает прерывистым голосом, что он вел себя вчера «буквально, буквально, как ломовой извозчик»: даже позволил себе возвысить голос на достойного человека!.. Я поспешил утешить его и предсказать, что на днях же будет заключен между обоими спорщиками искреннейший мир. Так оно и случилось, потому что иначе быть не могло.

Благородная основа чувства дружбы у Владимира Соловьева весьма наглядно проявлялась в том, что он всячески старался сближать нравственно между собою порядочных людей, невзирая на различие в из взглядах. Объединяет он их и теперь, из-за могилы, общностью нравственного осиротения и страдания по поводу невознаградимой утраты, понесенной в лице этого светлого человека.

* * *

Когда уходит из жизни крупный человек и оставленною пустотою определяет свою цену в мировой экономии, обществу хочется поближе ознакомиться с его личностью, причем особое внимание зачастую останавливается на том, кого и как любил этот человек, *как смотрел на любовь* и какую роль она играла в его жизни.

В частности, одни говорили о Соловьеве, что он безусловный аскет в данном отношении, как это можно усмотреть из его писаний и образа жизни, по крайней мере за последние 10—15 лет; другие настаивали на каких-то своеобразных романах, подклад-

ка которых им будто бы доподлинно известна. Говоря совершенно искренно на основании 10-летних наблюдений, я не позволю себе утверждать ни того, ни другого. Несомненно, во всяком случае, что Владимир Соловьев знал высокую и пламенную дружбу с женщинами, весьма близкую к понятию любви. Каковы были ее пределы и формы — решить трудно даже ближайшим к нему людям, если они не склонны злословить в кредит. От самого же Владимира Соловьева, говорившего совершенно откровенно о своей глубокой симпатии к тем или иным людям, я никогда не слыхал даже отдаленнейшего намека на *реальные стороны* такой симпатии: быть может, потому, что их не было, или потому, что он был истинный пыщарь в этих вопросах.

В таком искреннем человеке, как Владимир Соловьев, мудрено отделить личность от писателя, т. е. два элемента, друг друга восполняющие и вместе объясняющие.

Выяснение вопроса о том, как он любил, весьма удобно при помощи его произведений. В его стихотворном сборнике много прекрасных, глубоко прочувствованных лирических пьес, в которых видна и пылкость его сердца, и, главное, пленительная возвышенность его любви. Самым интересным в этом отношении и, насколько я знаю, самым значительным с точки зрения биографической было следующее стихотворение:

Не по воле судьбы, не по мысли людей,
Не по мысли твоей я тебя полюбил;
И любовию вещей моей
От невилимой злобы, от тайных сетей
Я тебя ограждал, я тебя оградил.

Пусть сбираются тучи кругом,
Веет бурей зловещей и слышится гром:
Не страшися! Любви моей щит
Не падет перед темной судьбой.
Меж небесной грозой и тобой
Он, как встарь, неподвижно стоит.

А когда пред тобою и мной
Смерть погасит все светочи жизни земной,
Пламень вечный души, как с Востока звезда,
Поведет нас туда, где немеркнущий свет,
И пред Богом ты будешь тогда,
Перед Богом любви — мой ответ!..[56]

А про то, как он смотрел на так называемые «вещественные отношения», красноречиво говорит ряд презабавных юмористических стихотворений, из которых большинство, к сожалению, не вошло в сборник. Вот одно из них, которое он читал обыкно-

венно с уморительной гримасой, как-то горбясь и глядя умоляющим взором:

Там, под липой, у решетки,
Мне назначено свиданье.
Я иду, как агнец кроткий,
Обреченный на закланье.

Все как прежде: по высотам
Звезды старые моргают,
И в кустах по старым нотам
Соловьи концерт играют.

Я порядка не нарушу...
Но имей же состраданье!
Не томи мою ты душу,
Отпусти на покаянье![57]

Владимир Соловьев, несомненно, пользовался значительным нравственным успехом в дамском обществе, и некоторые «критики» или просто сплетники подтрунивали над этим фактом, в котором ничего предосудительного не было. Начинались иногда рассказы о том или другом «флирте», но скоро смолкали за отсутствием «улик». Помню, как однажды он что-то весьма долго засиделся в Москве, так что один из ближайших друзей его, почтенный М. М. Стасюлевич, ворчал: «Сообщает, что приедет в феврале, но не указывает, в феврале какого года». Кстати, в каком-то журнале Владимир Соловьев поместил стихотворение, в котором с игривым дружелюбием обращается к неведомой «дриаде». Я не преминул его письменно поддразнить и получил в ответ следующее интересное письмо, в котором Владимир Сергеевич весьма удачно выражает свой взгляд на любовь:

«В Москве держала меня вовсе не дриада, а просто житейское колесо. Дриада же есть миф: если не верите мне на слово, справьтесь в любом руководстве по мифологии или реальном словаре. А если и этим не убедитесь, то вот вам в доказательство правды моих слов (а также моей сердечной дружбы к вам) следующая интимная стихопроза:

Вы были для меня, прелестное созданье,
Что для скульпто́ра мрамора кусок.
Но сломан мой резец в усиленном старанье,
А глыбы каменной он одолеть не мог!

Любить вас tout de même. Вот странная затея!
Когда же кто любил негодный матерьял?
О светлом Божестве, любовью пламенея,
О светлом Божестве над вами я мечтал.

Теперь утешу вас! Пигмалионы редки,
Но есть каменотес в примете у меня:
Из мрамора скамью он сделает в беседке
И будет отдыхать от трудового дня [58].

Надо полагать, что автор приведенных стихов не послал их той особе, к которой они относились. Вряд ли кто-нибудь захочет принять их на свой счет, да это и не нужно. Важно то, что они проливают свет на личное отношение Владимира Соловьева к вопросу о любви...

* * *

Говорить ли о последних днях почившего мыслителя? Подробнее и ярче всего они описаны в прекрасной статье кн. С. Н. Трубецкого, в имении и, так сказать, на руках которого почил навеки Владимир Соловьев. Главные факты были заимствованы из нее или параллельно сообщены всею русскою печатью и теперь общеизвестны. Остается лишь кое-что не сообщить, а отметить.

Друзьям покойного, разделявшим его верования, важно и отрадно то, что он умер сознательно, как православный христианин, причастившись св. тайн.

Весьма характерно для почившего то, что он перед смертью молился за еврейский народ; даже если бы мы узнали об этом не из такого надежного источника, как слова кн. Трубецкого, достоверность известия об этом факте не подлежала бы сомнению. Владимир Соловьев любил еврейский народ, если можно так выразиться, любовью старшего брата, понимающего *все*, и потому не мог не молиться о нем перед смертью.

Затем нельзя не упомянуть об этом странном совпадении, тем более что сам Владимир Сергеевич придавал значение приметам. Соловьев ехал, собственно, в Малороссию, к князю Цертелеву, которого хотел утешить своей дружбой в постигшем его тяжком горе, смерти сына. У нас даже было условлено, что Владимир Сергеевич хоть на денек заедет по пути в мой украинский хутор. В Москве он остановился с целью провести свои именины у кн. Трубецкого, а затем совершенно больной поехал к нему и скончался в селе Узком. Невольно приходят на память слова Писания об *узки*х вратах в Царствие Небесное [59]. В самом этом названии есть что-то роковое для человека, у которого были самые широкие взгляды в России.

Владимир Сергеевич погребен, как известно, в Москве, в Новодевичьем монастыре, рядом со своим отцом, нашим великим

историком. От петербургских друзей покойного я слышал, что Владимир Сергеевич в прошлом июне месяце, гуляя по старинному парку в деревне Пустыньке (о которой выше упоминалось) был грустно настроен и, словно в предчувствии близкого конца, избрал там себе место для погребения. Перед самым же отъездом в Москву он пошел на то место и, сорвав там красненький цветочек, засунул его в петлицу сюртука...

В последний раз видел я почившего мыслителя приблизительно за месяц до его кончины. Он был явно болен — и сознавал это. Он был грустен, задумчив, говорил о религии, об антихристе; несколько раз за этот вечер он то выражал сомнение в возможности успеть сделать то или иное, то спрашивал немножко дрожащим голосом, словно желая получить успокоительный, утвердительный ответ: «Ведь мы же увидимся! Ведь не в последний раз мы видимся?!..»

Меня поразило, что ни разу за несколько часов беседы он не рассмеялся прежним смехом. Он это заметил и, уже сойдя по лестнице, пожелав рассеять мрачное впечатление, закричал снизу:

— А наша повременная печать находится-таки под сильным персидским влиянием!

— Как так?

— Она *испоганилась*! Помнишь город Испагань? Ха-ха-ха!

Он смеялся громко и как-то ненатурально, точно с особенною силой охватило его предчувствие смерти...

* * *

Теперь ему все равно, где лежит его прах. Но и ближайшим ему людям, и русскому обществу это небезразлично. Он погребен именно там, где следует. Лица, посещавшие разновременно его могилу, говорили о постоянном появлении на ней новых и новых цветов и венков с трогательными надписями на лентах. К этой дорогой могиле не зарастет тропа мыслящей России. Надо надеяться, что не зарастет, а расширится и путь к его творениям. Главное, что останется из них, — это произведения религиозные, а если выразиться еще строже — религиозное настроение.

Чтобы определить в одном слове Владимира Соловьева, некоторые публицисты назвали его *всечеловеком*. Вряд ли это вполне точно. Если даже оставить в стороне его самые последние произведения (носившие, по-моему, отпечаток болезненности), в которых он приветствует «германского Зигфрида», проповедует крестовый поход против желтой расы и говорит, что «крест и

меч — одно», — все-таки почивший мыслитель прежде всего именно *вселенский христианин*.

Именно как христианин, не отказывающийся <ни> от одного звука своего символа веры, он так братски любил иноверных христиан, евреев, мусульман. В этом его *своеобразность, сила и обаяние*.

Политические писания его, взятые независимо от основных побуждений, проживут менее долго; но и они, как выше было разъяснено, сослужат свою службу. И в них особенно ценны не столько выводы, иногда не оправдываемые действительностью, сколько опять-таки *настроение*. Учесть его результаты, конечно, трудно, но отдельные факты показывают, что труды не пропали даром.

Для отношений междуплеменных такие светочи мысли и чувства неоценимы, так как они озаряют истинный путь человечного сближения и взаимного понимания. Они приносят даже тот род пользы, который относится к области политики. Благоденственное и мирное житие достигается не столько внешними, искусственными мерами, сколько стихийными течениями, а такие «*теплые течения*» создаются людьми вроде Владимира Соловьева, о котором Брандес сказал, что видит в нем пророка «*не от мира сего, выше мира сего*»...

Несколько лет тому назад пришлось мне ехать по полесским дорогам в одном вагоне с тремя весьма молчаливыми ксендзами. Один из них, застенчиво приподняв шляпу, спросил меня как соседа о позволении выкурить папиросу. В ответ на эту любезность я ему предложил свой портсигар, на котором, между прочим, выгравирована подпись Владимира Соловьева. Увидав это имя, почтенный патер оживился, и между нами точно сразу хлынула сильная струя симпатии. В задушевной беседе с этими служителями чужого мне алтаря провели мы всю ночь, а когда расстались наутро в Киеве, то старший ксендз сказал мне:

— Нынче летом мы едем к гробу Господню; на будущий год надеемся посетить резиденцию преемника апостола Петра, а еще через год, если Матерь Божия позволит, поедем в Петербург, чтобы хоть раз в жизни увидеть великого русского праведника Христовой Церкви.

По смерти Владимира Соловьева не только во многих православных храмах, служители которых в последнее время стали ближе понимать его, но и во многих еврейских синагогах молились за этого христианина. О том же христианине сказал мне еще на днях, с трудом сдерживая рыдания, один высокообразованный и пламенный мусульманин:

— Какая ужасная потеря!.. Я был менее поражен скорбью, когда умер мой отец. Когда люди поумнеют, они поймут, что Владимир Соловьев был истинный «пир» (праведный муж).

Те, кто умом или сердцем осиротел, утратив Владимира Соловьева, спокойны за его светлую душу: он любил Бога всем существом своим, стремился служить только Его Истине и во Имя Его любви любил людей больше, чем самого себя.

А если и на небесах есть место доброму юмору как игре смеющихся золотых лучей на волнах безбрежной лазури, то верный раб Божий Владимир, оглянувшись на покинутый прах, вправе будет повторить слова своего украинского родича Г. С. Сковороды:

«*Мир меня ловил, — но не поймал*» [60].